ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Евгений Степанов. От редакции 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр РАДАШКЕВИЧ. Черноморская притча. *Стихотворения*.....4
Сергей ЖАДАН. Все, что тебе нужно. *Стихотворения*.....8
Екатерина АНТОНЕНКО. Рассказы 14
Саша ЛИБУРКИН. Паломники. *Рассказ*.....41
Лидия ГРИГОРЬЕВА. Долина попугаев. *Рассказ*.....53
Николай ТОЛСТИКОВ. «Красный» архиерей. *Рассказ*.....58
Инна ИОХВИДОВИЧ. Короткая проза 64
Борис ХЕРСОНСКИЙ.
Месса военного времени/Messa in tempore belli. *Стихотворения*.....72
Максим ЛАВРЕНТЬЕВ. Новые маленькие поэмы.....75
Вальдемар ВЕБЕР. День за днем. *Стихотворения* 81

СОВРЕМЕННАЯ ГРУЗИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бека КУРХУЛИ. Пустая пепельница. *Рассказ*
Перевела с грузинского Анна ГРИГ 85
Тамри ПХАКАДЗЕ. Я, улитка. *Рассказ*
Перевела с грузинского Анна ГРИГ 94
Шота ИАТАШВИЛИ. Стихотворения
Перевели с грузинского Кети ЧУХРОВ, Герман ВЛАСОВ,
Сусанна АРМЕНЯН, Ирина ДАНЕЛИЯ 97
Дмитрий ЦИКЛАУРИ. Гамшина зима. *Рассказ*
Перевела с грузинского Анна ГРИГ 102

НАСЛЕДИЕ

Карло КАЧАРАВА (1964–1994)
Перевела с грузинского Анна ГРИГ 110

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Книжная полка Александра Карпенко 116

РЕЦЕНЗИИ

Сергей Бирюков, «Звучарность» (Борис КОЛЫМАГИН),
Вадим Гройсман «Vita» (Александр ПАВЛОВ),
Анна Саед-Шах «Современная тётка» (Арсений АННЕНКОВ),
Александр Петрушкин, «ОТИДО: Черновики 2011-2013 гг.» (Александр ПАВЛОВ).....121

Коротко об авторах.....132

Май, 2014

ЖУРНАЛ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИЗДАТЕЛЬ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Главный редактор
Евгений СТЕПАНОВ (Россия)

Заместитель главного редактора
Владимир КОРКУНОВ (Россия)

Редакционная коллегия
Людмила АГЕЕВА (Германия)
Борис ВАЙНБЛАТ (Германия)
Лилия ГАЗИЗОВА (Россия)
Андрей ГРИЦМАН (США)
Вера ЗУБАРЕВА (США)
Семён КАМИНСКИЙ (США)
Кирилл КОВАЛЬДЖИ (Россия)
Наталья КРОФТС (Австралия)
Борис ХАЗАНОВ (Германия)

Компьютерная верстка
Василий МАНУЛОВ

Контакты
Бизнес-центр «Калейдоскоп»
Россия, 115230, Москва, Хлебозаводской проезд,
д. 7, стр. 9, офис № 12 (7 этаж)
Редакция журнала «Зарубежные записки»
Степанову Евгению Викторовичу
Тел. в Москве: (495) 978 62 75
Сайт журнала: http://z-zapiski.ru
Эл. адрес редакции: stepanovev@mail.ru

Дорогие друзья!

Очередной номер журнала «Зарубежные записки» представляет, по традиции, прежде всего литературу русского зарубежья, а также поэтов и прозаиков метрополии.

Я благодарен читателям, авторам и членам редколлегии за всестороннюю поддержку журналу, который — после возобновления издания — ищет свой путь в современном литературном процессе.

«Зарубежные записки» и в дальнейшем будут уделять большое внимание переводной литературе, критическим обзорам. Мы хотим публиковать и известных мастеров и слова, и талантливую литературную молодежь.

В этом номере представлены авторы, которые давно сделали себе имя, — Александр Радашкевич, Сергей Жадан, Борис Херсонский, Лидия Григорьева, Шота Иаташвили, Вальдемар Вебер, Инна Иохвидович, Максим Лаврентьев, Саша Либуркин… Отдельным блоком представлена современная грузинская проза.

Молодую генерацию прозаиков представляет Екатерина Антоненко из города Стаханов (Украина) — многим, наверное, памятен дебют Екатерины в журнале «Урал».

По сложившейся традиции, в номере много рецензий и «Книжная полка Александра Карпенко».

Мы значительно увеличили объем журнала. Он теперь выходит и в мягком переплете, и в твердом (подарочном).

Ждем ваших новых произведений. Надеюсь, что журнал «Зарубежные записки» будет интересен самой широкой аудитории.

Евгений СТЕПАНОВ

Александр РАДАШКЕВИЧ

ЧЕРНОМОРСКАЯ ПРИТЧА

ГРУЗИНСКОЕ

Там, где маки Ахалкалаки, где
бекасы Палеостоми и злое счастье
яви в кувшине саперави, бегут,
как на работу, бездомные собаки,
и, как в жизни позапрошлой, вслед
моргает теленок рыжий
иконным оком
Пиросмани,
и кажется, доехали до полной
остановки, до тополя дорожного и
воробьенка пегого на предпоследней
ветке, где так легко оплакать
и так легко восславить эти маки
Ахалкалаки и на кресте
озерном трех бекасов
Палеостоми.

ПРЕДАПРЕЛЬСКАЯ ПЕСЕНКА

Кончается, кончается, когда-
нибудь кончается и лепет за
околицей, и речка над мостом,
и мы сидим-качаемся,
качаемся, качаемся вместе
с небом, что зря намечтали
и что пялится
млечно на нас.
Случается, случается, вся
эта жизнь случается, положим,
неслучайная, да мы тут ни
при чем. Кино давно докручено,
слова переиначены, и нет уж
баритона, что пел
«Проходит все».
И на заборе дачном мы клеим
объявление по-эсперантски
или на хинди: мол, душу
отдаем просто даром,
в хорошие руки.
Роман захлопнут старенький,
недожитый, раскрашенный, а

хочется еще. Кончается,
сбывается, тропинка запинается,
и только в детстве
верится, что это
не про то.

* * *

И смотрят, как распятые,
Но все одно живые,
Мои семидесятые
На ваши нулевые.
Равиль Бухараев

А в эпоху вырожденья очень много
колбасы и совсем не слышно неба,
люди с порожними лицами подключены
к проводкам; забивая глаза и уши,
они не слушают, не видят и не
затыкаются по дороге в магазины
и на пути из оных, не расстаются,
не ждут, не страдают и растворяются
в плоских подменах, в платных обманах,
и подключаются к новым приборам
всей головою и сердцем квадратным,
употребляя себя, как продукты.
А в эпоху вырожденья просто
не может родиться Высоцкий, и
Окуджава, с дворами Арбата, глядя
в окно, от нее
умирает.

ЧЕРНОМОРСКАЯ ПРИТЧА

Лицом к взволнованному морю, в курортном сплине,
я медленно сгорал на предотъездном солнце, когда
он заглянул в мои глаза, тот пляжный пятилетний
мальчик, когда такой же глянул из меня, и начали
они нешуточно играть в игру заглавной жизни,
в которой я был Лис, но только без куста. Сначала
он мягко шлепнул по моей руке ладошкой, как бы
случайно мимо проходя, потом еще. Родители не
уставали извиняться: «Вы знаете, обычно
он ни с кем…» «Вы знаете,
я тоже».
Вот он подносит круглый камень, потом другой,
попроще, а вот — яйцо зеленой вылизанной гальки.
«Тимур его зовут». Я начал понимать. Мы воздвигали
галечный курган, уже не глядя на других, и он ни разу
зря не улыбнулся, роняя взгляд оливковый в меня
и важно поднося вершинный камень. Ни слова он
не вымолвил, и было все смертельно ясно лицом

к непререкаемому морю, все просто и легко, и он,
не обернувшись, смотрел мне вслед, когда я
удалялся по чьим-то
осыпавшимся
следам.

НАД СЕНОЙ

Не влюбляй меня в себя, из скорее
карих глаз не впадай ты в Сену
Волгой, пасторальными устами
не целуй дымок столетий над
горбатой мостовой,
удлиненнейшим
бедром из челлиниевых линий не
качай за небом барку леденеющей
судьбы и еще раз
обернись на перроне
многооком, и приснись мне, и
не спи у обрыва обретений
и над четками
потерь, в мире бледном, обомлевшем
наугад сорвись в провал этой
просини пернатой, в первый раз, но в рас-
последний улыбнись мне так
смертельно и впадай
в седую Сену мимо сорванных
мостов, и пиши опять о муке
этих бархатных разлук, из садов святого
лета пух и прах роняй в полеты и
влюбляй меня в себя.

ФОНАРИКИ

Отлетают фонарики дней
в черном небе почившего
лета, и сердце обрывается
куда-то не туда. Эх, ликовать
ли, каяться? Кораблики,
кораблики, зазвездная гряда.
И кто отмерил-вычислил,
вымарывал, подчеркивал,
дразнил и перехваливал и
ошибался кто? Кораблики-
огарочки, надкрайние края,
и это небо голое, витое,
безглагольное, где берега
раскрошены у кромки бытия.

Давай считать и праздновать,
играть с собой вничью,
по полочкам умащивать,

разглаживать панбархатный
наряд небытия. Пора. Слова
сливаются, но чтоб куплетик
кончился — да как же и за что?
В белом небе почившего
лета кораблики-фонарики,
нависшая волна, где память
обрывается, как строчка от
отчаянья, как улочка без
имени, где окна те нечаянно
сорвались в тишину.

В УФЕ

И в заоконном шорохе машин
я снова сетую о том,
пока отходит ночь в седое утро
первых сентябрей,
о тех, кого не тронет пена дней,
и ангелы бессонные
со мной, прозрачно помавая
рукавами, под ярое
шипение машин безмолвствуют
о ком-то о другом.

Школа смерти за школой жизни,
полый ранец за спиной,
и за партой последний читатель,
не жалея, не зовя, не
плача, как тот рязанский Лель
жемчужногубый,
проливший млечные слова,
он вздыхает о тех, он
горюет о том и тоскует со мной
обо мне.

Сергей ЖАДАН

ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО

CHICAGO BULLS

Харьков. 2006 год. Напряженная
криминогенная ситуация. Тяжелая промышленность
исчерпывается супермаркетами.

И вот, когда рынок перенасыщен,
одна сеть супермаркетов начинает войну
против другой.

Закладываются первые бомбы,
звучат первые взрывы,
портятся товары,
разорванные памперсы летают над кассовыми
аппаратами, словно индейки.

В одной сети супермаркетов
работает менеджером девушка, ее
давно зае.али все эти супермаркеты,
но ежедневно в восемь утра
она должна приходить на работу и гнить
над разработкой очередной
рекламной кампании
паленой
российской
водки.

В нее влюблен один из охранников, стриженый,
отбитый охранник, который прибегает
утром в хоккейном свитере Chicago Bulls, потом
надевает униформу и становится похожим на гея.

И он страдает, а она даже
не смотрит на него,
он для нее лишь охранник
в пидарской форме;
она сдает конкурентам все коды доступа, открывает
все карты, она все продумала и просчитала,
и когда конкуренты подрывают в ее супермаркете
очередную бомбу, она незаметно снимает кассу
и пытается исчезнуть.
Но УБОП пробивает по своим каналам
ее телефонные разговоры и ждет ее на парковке,

и когда она пытается исчезнуть на своей бехе, они
блокируют выезд, простреливают ей живот и кричат охраннику:
эй, ты, пидор, давай — обойди ее
с другой стороны.

Но охранник неожиданно открывает по ним огонь,
впрыгивает в беху, перетягивает ее на правое сиденье и мчит
вместе с ней в никуда.
Такая история.

И вот ты идешь городом,
и все, что тебе нужно —
просто нормально потрахаться,
прямо теперь и прямо здесь,
хоть раз нормально, после всего этого мозгое.ства,
среди всей этой криминогенной ситуации, среди всех
этих супермаркетов, которые растут, как грибы,
забирают жизненные силы;
о, эти супермаркеты, эти концлагеря
для бюджетников,
конвейеры для лохов.
Я БУДУ ВЗЛАМЫВАТЬ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ!
Я БУДУ ВЗЛАМЫВАТЬ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ!
ХОТЯ БЫ РАЗ! ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ!
ВСЕ РАВНО С КЕМ!

— Кто ты?
— Я хочу тебе помочь.
— Ты Бог?
— Я твой антикризисный менеджер.
— Что это у тебя?
— Это быки Чикаго.Они вывезут нас, любимая, из этого дыма.

Звездная ночь скроет нас от преследователей.
Оружие нам дается, чтоб защищать друг друга.
Жизнь дается нам, чтоб умереть вместе.
Смотри, какая глубокая осень вокруг,
наконец начинает падать снег,
по улице идет семья, спокойная и счастливая.

— О, Боже, что это такое белое? — восхищенно спрашивает мальчик.
— Это снег, — отвечает мама.
— Это горячка, — отвечает папа.

* * *

Я башлял братве
служил в ВДВ,
через Чехию помятые гонял БМВ,
виза у меня германская,
вера — христианская,
телка из Антверпена, фирма бердянская.

Налоговый пресс,
бизнес-интерес,
хмурые разборки с чуваками в МЧС.
Депозиты в банках
на поддельных бланках.
Кто сидит на Библии, кто сидит на транках.

Имена в блокнотах,
жизнь в заботах,
на руках три штуки в мелких банкнотах
пробить по базе
номера на КАМАЗе,
и валить в Ерусалим с пересадкой в Газе.

Ночные прогоны,
ЖД-перегоны,
два пьяных капитана из минобороны,
рвались к бою,
дрались между собою,
от похмелья светлый путь к новому запою.

Кровь на траве,
шрам на голове,
две навылет — огнестрельных, ножевых — тоже две.
Из проходных дворов
от местных оперов,
до южных горизонтов и до лучших миров.

Пакеты почтовые,
дела хреновые,
заморожены счета, мы откроем новые.
Рваные берцы,
родственники в Греции,
попробуй прожить с честной коммерции!

* * *

ЖД, Юго-Западное направление.
Третий час ночи. Время длится.
Обеспечивает движение
на два вагона — одна проводница.

Ходит словно Матерь Тереза,
неустойчивая, как погода,
блуждает — темная и нетрезвая,
отгоняя сны от народа.

Я лежу в глубине вагона
обреченно, словно шахтер в забое,
Везу пакет с головой Питона —
черного химика с Лозовой.

Он жил как мог, контролируя трафик,
от Краснодона до села Граденицы,
до Тирасполя и местечек, не нужных и нафик,
имел поставщиков из-за границы,

Он травил своим суррогатом
молдаван и всяких узбеков,
Одно время даже был депутатом
По мажоритарному, от эсдеков.

Третий час ночи, но глаз не смыкаю,
под музыку перестуков мерных,
прислушиваюсь и ощущаю,
как щетина растет на щеках его мертвых.

— Ну что? — говорю — как ты, брат? Проспался?
Может, стрельнуть тебе сигарету? Покуришь малость.
— Ладно, — он отвечает, — сиди, не парься,
с моими проблемами только курить и осталось!

Страшно там? — спрашиваю. — Не так, чтобы очень,
просто сначала чуть непривычно.
А страшно было в прошлую осень,
в Ростове, во время пожара в шашлычной.

А здесь — будто тебе не вернули какую-то малость-милость,
память, как парашют за собой волочишь.
Ходишь и забываешь, что на веку случилось,
а забыть не можешь, хоть очень хочешь.

Лишь ощущаешь последним нервом,
зубами и складками жировыми
тонкий рубеж, что проходит небом
между живыми и неживыми.

Так что вези то, что от меня осталось,
домой в тихом, как песня, вагоне,
вези бесконечную мою усталость
и воспоминания неугомонные.

Отдай меня браткам — печальным и пьяным.
Пусть они решают между собою,
осушая стакан за стаканом,
что им делать с моей головою.

Пусть они помнят мои привычки,
гОлоса мерзлые, глубокие озера
и легкие — черные, как рукавички
избитого безнадежно боксера.

Скажи той женщине, что любить умела,
пусть она выходит из своей печали,
хорошо, что она была далеко от моего тела,
когда эти гады меня кончали.

Такая теперь между нами граница.
Вставь мне в рот сигаретку, если чувствуешь что-то.
Смерть — она, как вот та проводница,
Для нее это — честная и простая работа.

Случайные даты, теплые сновидения,
все, что запомнил ты от рождения,
все, что увидеть в жизни смог ты,
по смерти живет — как волосы или ногти.

Поговори со мною, братка.
Паленый «Найк», старая арафатка.
Ночь плывет, сумрак шатается,
воздух вдыхается,
выдыхается.

* * *

Они сели за стол, накрытый на всех,
сбросив кожанки и тяжелые пиджаки,
отключили мобильники, чтобы пить без помех,
не выпуская бокал из руки.

Охрана вышла. И свежая мгла
за окном стояла, как океан,
касаясь окон густого тепла,
как женские пальцы — открытых ран.

Он всем наливал, кто сидел за столом,
как себе самому — до краев наливал.
Токайские вина, ямайский ром
отражали огней голубой накал.

Наливал и думал — когда еще мы
соберемся так, без особых дел?
Никто не исчез среди смертной тьмы.
Я сам их выбрал, сам разглядел!

Я их сам защищал, я их сам крышевал,
я их вел за собой сквозь страх и смог,
я держался за них — и я их держал,
я солнце на их знаменах зажег!

Молодые, небритые, злые — они
управляют миром, как я их учил.
Вот, сидят за столом, вот — мерцают огни,
обжигает ром, мадера горчит.

Я поддерживал каждого словом своим,
я дарую уверенность и благодать.
Я их кормлю, наливаю им,
так кому ж доведется меня предать?

Кто заложит меня? Кто этот гад?
Кто возьмет на душу подобный грех?
Кто всех сдаст в ментуру и будет рад,
Подведет под ментовские пушки всех?

…Самый младший из них, с рубцом на щеке,
кто паленым ромом запивал кокаин,
нервничал — такая в курильщике
тревога, когда не дают курить никотин

и кричал ему: босс, что за дела?
Мы их всех порвем! Нас всегда ведет
удача. Она нас не подвела,
и оружие нас не подведет!

А он наливал ему: парень, врешь!
Раньше иль позже удаче — кранты.
Как придавят тебя, ты первый сольешь
адреса, имена — все выложишь ты!

А молодой и рта не раскрыл,
только вглядывался во тьму,
забывая все, что он говорил
и что они наплели ему.

…За окном внизу протекала река,
унося собою их песни и плач,
и огонь отдаленного маяка
золотил кровли соседских дач.

Золотил деревья, холмы, поля
и машин тонированное стекло.
Золотил все то, что дала земля,
что когда-то было, но утекло,

их движения, взгляды и их слова,
все минувшее: стены, деревья, мосты.
Ничего не изменится. Только трава
будет каждый год по-иному расти.

Стояли охранники, их не жаль.
порядком вымотанные, они,
знали, кого стерегут, и в даль
глядели на тени и на огни.

А те, за столом, завершали страду,
последние допивали глотки,
и каждый врубал свою трубу
и подсчитывал пропущенные за ночь звонки.

И, как соль прозрачные, незримы почти
загорались нимбы вокруг их голов, чтобы не
пропали они, чтоб могли их найти
в тишине, в тумане, на глубине.

Перевел с украинского Борис ХЕРСОНСКИЙ

Екатерина АНТОНЕНКО

РАССКАЗЫ

«Люди не понимают слов. Люди понимают чувства»

Жалкий рудимент.

Ненавижу утро. Ненавижу каждый день все начинать сначала, автоматически выполняя заученные действия, важные по своему назначению, но ненавистные по временному исполнению: умываться, чистить зубы, что-то есть на завтрак, вяло разжевывая, когда больше всего на свете хочется спать, беззаботно переворачиваясь с бока на бок. Какой-то идиот решил, что именно на утро приходится пик человеческой активности и начало рабочего дня должно происходить именно в это время. Что удивительно, все дружно согласились. Почему не спросили меня? Я бы с удовольствием рассказала, что пик активности в моем случае замещается ненавистью. Сублимируется, если вдруг надо сказать красное словцо. Изощренный истязатель человеческих душ, придумавший пытку утром, непременно оценил бы мою начитанность.

Отбрасываю одеяло, поднимаюсь. Озноб тотчас же пробирается под кожу, выпячивая наружу противные острые мурашки. Вздымаются дыбом волоски. Ломит от холода и недосыпания. Надеваю халат и носки. Муравьиная армия теряет многочисленных соотечественников, отчего становится теплее.

Распахиваю шторы. Подлое солнце выглядывает из-за горизонта, обещая ясный день и жару ближе к полудню, но всю дорогу на работу будет предательски обдавать прохладой и остатками ночи. Ненавижу утреннее вероломное солнце. Ненавижу утро.

Ставлю чайник. Пытаюсь собрать мысли воедино, но они расползаются, уплывают, хаотично сменяя друг друга, не составляя мысленного единства. В сумбурных попытках думать, которыми, якобы, славятся все представители гомо сапиенс, не могу решить: надеть кофту и не мерзнуть по дороге на работу, но вечером тянуть ее обратно, или возвращаться домой налегке, перетерпев утреннюю прохладу. Кажется, решение этой задачки мне не под силу. Я не могу сосредоточится, собраться, определить приоритеты. Детям в таких случаях ставят синдром дефицита внимания, надеясь, что расстройство пройдет со временем, а у взрослых, наверное, подобные нарушения означают умственную отсталость. Кажется, у меня олигофрения. Утренняя олигофрения. И это неизлечимо. И это еще один повод ненавидеть утро.

Растерев горячую воду по лицу, чищу зубы. Сплевываю пену. Алые пятна обозначают неполадки с деснами. Вечернее чищение никогда не сопровождается подобным. Даже мои десны противятся раннему пробуждению. Да весь мой организм, единая система взглядов, мнений, позиций и суждений, ненавидит утро, вырабатывая в ежедневных протестах агрессию, отвращение, злобу. И это только начало. Дальше будет еще хуже. Ежедневная пытка утром проходит в два этапа: сначала тихое домашнее линчевание, призванное пробудить себя и заставить влачить подневольное существование, потом общественная — транспортом. А днем — ненавистная работа.

Гляжу на себя в зеркало. Бледная, синяки под глазами, прыщик у рта. Может, накраситься? Не хочу. К моей ничтожной жизни красота ни к чему. Старые босоножки трут, на новые денег не предвидится. Платье тоже надену старое. Не надевать же что-то хорошее на мою отстойную работу. Быстро пью чай, заварив его вчерашней заваркой, глотаю бутерброд, выхожу на улицу, набросив кофту.

Православные христианские догмы берут на себя наглость утверждать, что человек — венец творения, и на лестнице земных творений поставлен на наивысшую ступень, занимая господствующее место. Вероятно, это гнусное вранье придумал тот же придурок, который утверждал про пик активности. Неужели жалкий сброд, толпящийся на остановке, помятый, пропахший перегаром, жадно курящий и сплевывающий, — высший Божий замысел?

Я присоединилась к всеобщей убогости и, очевидно, к Божьему замыслу. С одной стороны от меня стоит парень лет двадцати пяти и лузгает семечки, рассыпая шелуху, а тетенька справа беспокойно переминается с ноги на ногу, поминутно поглядывая на часы, и шепчет ругательства опаздывающему автобусу. Взвинченная, она ожидает подходящего случая выплеснуть свое плохое настроение на окружающих, и эта возможность, уверена, не заставит себя долго ждать. Запах дешевых духов облаком окружает тетеньку и, кажется, распространяется на километр. Отворачиваюсь, но новое облако смрада разрушает мне мозг. Высоченный мужичина жадно затягивается сигаретой, выпуская в атмосферу табачные облака. Докурив одну сигарету, он вытаскивает из красной пачки новую и продолжает скрашивать свой досуг.

Как же я вас всех ненавижу. Но хуже всего то, что у меня нет ни единого повода исключить себя из этих никчемных рядов.

Завидев автобус, толпа засуетилась. Спрятала телефоны, вытащила кошельки и, сделав последние жадные затяжки, обрушила кометы окурков на асфальт. Водитель распахнул двери, люди стали всасываться, вручая заранее отсчитанную сумму кондуктору.

— Мужчина, осторожнее! — выпалила благоухающая тетенька мужичине, который, не рассчитав, одновременно с ней втиснулся в автобус.

— В такси едь, шоб осторожно было! — последовал незамедлительный ответ.

Общественный транспорт — способ реализации для тех, кто не может проявить себя нигде больше. Свою значимость тетенька обрушила на мужичину, тот, в свою очередь, продемонстрировал, что не будет считаться с кем зря. Оба получили разрядку.

— Боров здоровый! — негромко пробормотала благоухающая тетенька, засовывая кошелек в сумку. Теперь всю дорогу она будет побеждать его в своих мыслях.

Как же все банально, предсказуемо, не интересно.

Места мне не хватило. Как всегда. Впрочем, если бы каким-то чудом сиденье пустовало, мне не удалось бы удержать его. На ближайшей же остановке какой-нибудь алкаш, посадивший печень, непременно захочет уважения к своей личности, и мне придется подняться, идя на поводу чужой значимости. Опять значимость. Даже ежедневные алкогольные вливания не способны вытравить ее. Удивительно, пропить можно все: здоровье, деньги, семью, совесть, но самолюбивость — никогда.

На новой остановке вваливается еще одна порция пассажиров, заполняя собой остатки пространства.

— Передаем за проезд, — волнуется кондуктор. Значимость не позволит ему пропустить две гривны, полагающиеся с пассажира.

— Дайте хоть войти! — возмущаются вошедшие. Их значимость теребится чужой спешностью.

Меня подпирают с обоих боков. Становится жарко, кофту придется снять и таскать за собой весь день. Надо было немного померзнуть, хотя вчера мне казалось иначе.

— Передайте, — вручает мне деньги высокая женщина в очках. У нее яркий макияж и толстый слой пудры. Наверное, она накладывала косметику без очков, а по окончанию не взглянула на свое отражение. Получилась маска. Ужасное зрелище.

Денежную эстафету передаю мужчине в клетчатой рубашке. От него воняет потом. Жесткими, наждачными руками он забирает деньги, резко передает дальше. Улыбается мне. В его усах что-то застряло. Противно.

Почему одни уроды кругом? Почему в переполненном автобусе нет ни одного симпатичного мне человека? Неужели так бывает? Наверное, этим людям я тоже кажусь отвратительной. Чувства взаимны. Вряд ли ненавидя все человечество, можно ожидать филантропию взамен.

Автобус объезжает ямы, пассажиры синхронно раскачиваются, напоминая квашеные яблоки в бочке, то и дело подпрыгивая на кочках, расплескивая ругательства.

Новая остановка впускает новый поток народа. Новая порция гнева, новая демонстрация собственной значимости.

— Пройдите на середину! Там же пусто! — взывает к пониманию висящий на ступенях мужичонка. Он маленький, плешивый, говорит высоким, не мужским голосом. Он нелеп, смешон.

— Некуда там! Друг на друга залезть, что ли? — огрызается благоухающая тетенька. Наверное, она уже переварила наглость борова, победила его во внутренних монологах, но, не в силах освободиться от плохого настроения, жаждет новых разрядок и побед.

— Проходим по салону, — вмешивается кондуктор и не забывает добавить: — передаем за проезд.

Мужичонка кое-как втиснулся в автобус, за ним закрылась дверь. Двое менее изворотливых остались на остановке. Окидываю взглядом пассажиров. Среди тетек-дядек неопределенного возраста втиснулся парень лет двадцати семи. Моя подруга Женька сказала бы, что он симпатичный, но мне кажется примитивным: жует жвачку, пустыми, бездумными глазами водит по сторонам. Бицепсы, вероятно, составляют ему гордость, а в сочетании со смазливым лицом он, несомненно, имеет большую популярность среди девок. Женька не пропустила бы такой экземпляр и, желая познакомиться, разыграла бы какую-нибудь сценку для привлечения внимания. Например, такую:

«Ой, извините, я на вас навалилась. Это автобус качнул, простите, не хотела».

«Ничего, ничего, было даже приятно. Навалитесь еще раз и скажите номер вашего телефона».

Незамысловато, пошло, эффективно. Всегда удивляюсь, но плохенькая актерская игра Женьки с жеманничаньем и переигрыванием, бесперебойно привлекает кавалеров, обеспечивая ее вниманием, комплиментами и приятными вечерними времяпровождениями. Я же обычно остаюсь в тени событий.

Женькина значимость определяется количеством красавчиков, которых она смогла закадрить и продемонстрировать подружкам, а вот самооценка ее кавалеров подвергается серьезному испытанию. Не умея оценивать чужую популярность выше своей, доброжелательные подружки нашептывают горе-кавалерам про многочисленных конкурентов, окружающих Женьку, про полигамные ее взгляды на отношения, про непостоянство и капризность, и парни, чувствуя обманутость и обиду, торопятся побыстрее сбежать. За утешением далеко ходить не приходится. В объятиях все тех же доброжелательниц их значимость быстро крепнет, многократно утверждаясь.

Женька же, не долго отчаиваясь унизительным положением брошенной, знает, как исправить недоразумение и вновь выходит на охоту.

Неужели схема человеческих отношений сводится к постоянному стимулированию собственной значимости? Неужели Божий замысел относительно рода людского настолько примитивен?

В автобусе жарко. Не продохнуть. Еще эта кофта, переброшенная через руку, греет, как сумасшедшая. Ноги устали от неподвижности. Как же я все это ненавижу. И мне даже пожаловаться некому. Та же Женька совсем не тяготиться убогостью, толпой и никчемностью. Вечно занятая обольщением кавалеров, она вполне легко вживается в любую ситуацию и чувствует себя на высоте, отстаивая свои интересы возмущениями и негодованиями, подобно благоухающей тетеньке. Женька не пропадет, это точно. Ей везде хорошо.

Новая остановка. Одна порция пассажиров сменяется другой. Дамочка с ребенком удобно занимают место напротив дверей. Мальчик четырех лет крутится на ее руках, что-то лепечет на своем непонятном языке, что-то требует, цепляя ножками близстоящих. Спрашивается, чего ему не хватает? Мать рядом, сидеть удобно. Успокойся, да смотри вокруг. Нет же. Он сейчас вынесет мозг себе, матери и окружающим.

— Женщина, ваш ребенок перепачкает меня, — говорит девушка в белых брюках, на которых уже виднеется серая полоса от сандаликов.

— Костик, успокойся! Тетя будет ругаться, — обещает мать, но Костик еще сильнее что-то требует.

— За проезд передаем, — напоминает кондуктор.

— Ой, совсем забыла, — говорит мать и пускает две гривны эстафетой, — Ладно, на тебе конфетку. Но только одну, понял?

Мальчик взял «Гуливер», развернул, надкусил, пальцы расплавили шоколад. Когда конфета была съедена, мать принялась вытирать руки сына влажной салфеткой, потом сухой. Сколько мороки. Сколько суеты на пустом месте. Кажется, я не люблю детей. Я не выношу бесполезной возни, капризов, соплей, шоколадной грязи и пятен, а тех грамотеев, которые убеждают меня, будто бы пора их заводить, наверное, пора далеко посылать. Учить они меня станут. Что вы сами знаете? Как влезть в переполненный автобус и отстоять свою сраную значимость?

Люди не понимают слов, люди понимают чувства. И даже если это дети, способность улавливать остановку хорошо ими освоена. Мальчик взглянул на меня, перевел взгляд на девушку в белых брюках и отчаянно заплакал. Он почувствовал нелюбовь и прильнул к матери за защитой.

— Костик, успокойся! Что ж ты такой неспокойный сегодня?

Отвернусь. Не буду дразнить ребенка. Ему еще предстоит научиться жить с неприятными людьми. Не буду подгонять события.

Новая остановка. Новая порция пассажиров. Новый поток брани.

— Передаем за проезд!

— Вы мне с десятки сдачу не дали, — раздражается женщина, которая вошла на предыдущей остановке вместе с дамочкой, ребенком и девушкой в белых штанах.

— Не может такого быть! Я передавала!

— Не передавала! — настаивает пассажир.

Как же я устала от всего этого, а рабочий день еще и не начинался. Это только начало длинного, изнурительного и нервозного дня, который я буду проклинать каждую минуту. А потом, идя домой уставшая, обессиленная, проклинать завтрашний день, покорно ожидая выходных. Эх, если можно было бы подчинить время, я замкнула бы выходные в непрерывный цикл, и, проживая их вновь и вновь, наслаждалась свободой. Это сделало бы меня сказочно счастливой.

Наука ищет альтернативные источники энергии, воду на Марсе, изобретает Теорию Всего, но ни разу задачей исследования не стала попытка сделать человека счастливым, предоставив ему временные рамки, в которых комфортно.

В самом конце автобуса, возле окна, освободилось пространство. Перейду туда. Глядя в окно, получится абстрагироваться и не участвовать в параде абсурдов.

— Отдавайте мою сдачу! — опять кричит пассажир.

— Уже отдавала,— кричит в ответ кондуктор. Здоровенная бабища, с толстым обручальным кольцом, кажется, скорее удавится, нежели уступит.

Я почему-то представила кричащий, искореженный злостью рот кондуктора, брызжущую слюну, желтые передние и гнилые дальние зубы, золотые коронки, темные отложения камней, рыхлый язык. Фу! Зачем я это представляла? Зачем загромождаю противными картинками свой ум? Но мысль ушла дальше, игнорируя неприятные чувства. Мне подумалось, что эта бабища чья-то жена, и, вполне очевидно, у нее случается регулярный секс с мужчиной. В порыве похоти, он наваливается на нее, соединяет свой слизкий язык с ее, и, совершая энергичные фрикции, покачивается на жирных телесах супруги. Фу, фу, фу! Зачем я об этом думаю? Зачем такие гадости в моей голове?

Новая остановка. Вваливаются новые пассажиры, старые выходят. Хорошо, что я больше не вижу этих жалких людишек, лишь спиной чувствуя их перемещение.

— Передаем за проезд.

Хорошо бы еще и не слышать.

— Вы мне сдачу так и не передали! — не сдается пассажир, заплативший десятку. Предпринимается новая попытка внедрения значимости и прав в сознание кондуктора.

— Женщина, сколько раз говорить! Передавала! Понимаете? Пе-ре-да-ва-ла! — орет кондуктор.

Попытка внедрения провалилась.

Странно, я совсем не чувствую свою значимость. Наверное, в ежедневном убожестве и скудности она атрофировалось, превратившись в жалкий рудимент. Помнится, в школьные годы, в институте, у меня было другое отношение к себе, но все изменилось.

За окном мелькают деревья, дорожная разметка ярким пунктиром задает направление, автобус обгоняют машины разной стоимости и красоты.

Почему так? Кто–то удобно устроился за рулем собственного автомобиля, приятно пахнущего кожей и духами, а кто-то волочится в автобусе и по жизни? Не думаю, что ответ каким-то образом кроется в длительности рабочего дня или трудолюбии. Кто-то вообще не работает, но имеет множество благ. Например, моя одноклассница Катька сначала щедро содержалась богатым папой, затем богатым мужем. Если спросить, хочется ли ей выйти на работу, она удивится. Зачем? И вправду, наряды можно выгуливать в ресторанах, путешествиях и салонах красоты, а трудиться каждый день за мизерные деньги, проходя утреннюю пытку пробуждения, ни к чему. Катька не работала ни дня в своей жизни. Катьке хорошо и так. Гедонизм — единственная цель ее жизни.

Конечно, можно порассуждать, что такой способ жизни лишен духовных ценностей, регрессивный, но давайте не провозглашать пламенных речей о высоких материях из переполненного автобуса!

Помнится, Катька никогда не отличалась сообразительностью. В школу она приходила лишь для того, чтобы пообщаться с такими же мажорными подружками, как сама, промыть кости всем неудачникам, которые из-за финансового положения не могли составлять элиту класса и школы, и сбежать с последних уроков в соседнее кафе. А в выходные к Катьке

приходили репетиторы. Один за другим они что-то вкладывали в ее голову, получая приличное вознаграждение. Нельзя сказать, что индивидуальный способ работы приносил Катьке знания. Собственно, знания вообще ее не интересовали, но, поскольку репетиторство выполняли Катькины школьные учителя, на праздничной линейке она получила почти отличный аттестат и благодарность родителям за хорошее воспитание дочери.

Институт прошел примерно по такой же схеме. Папа отремонтировал за свой счет едва ли не весь административный корпус, считая, что, если вдруг дочери захочется когда-нибудь строить карьеру, надо обеспечить ее дипломом и не жалеть капиталовложений на этот счет. Для Катьки бессонные студенческие ночи перед сессией были так же диковинны и необычны, как и способность других жить на стипендию. Она удивлялась, что свободное время многие знакомые тратят на подработку, месячная оплата которой куда ниже, чем стоимость ее туфлей.

Впрочем, к чести Катьки, надо сказать, что она часто занимала деньги менее обеспеченным подругам, на пары ходила исправно, а образцовыми, аккуратными конспектами охотно делилась с прогульщиками.

Думаю, значимость Катьки никогда не подвергалась испытанию. На протяжении всей жизни она одинаково щедро получала подарки, не изматываясь на приспособления. Ей повезло.

Почему не повезло мне? Та же школа, тот же институт. Казалось бы, одна дорога. Только мой путь привел в никуда, а Катька, удачно выйдя замуж, в очередной раз получила все прекрасное.

С детства мне говорили, что, якобы, надо усердно работать, чтобы что-то получить. Это полная чушь — проверено! Я усердно работала всю свою жизнь, стремилась к знаниям, которые должны были открыть возможности, ставила цели, а трудовой стаж начала еще до совершеннолетия. И что? Это решительно никак не отразилось на качестве моей жизни. Я зарабатываю копейки, ненавижу свою работу, а хорошие варианты занимаются другими, о ком позаботились.

Впервые моя значимость сильно пошатнулась, когда стало понятно, что трудоустройство стоит денег, что никого случайного, с улицы, брать в престижные заведения не принято. Сумма оказалась внушительной, и родители не посчитали нужным оплатить ее. Возможно, они правы.

Новые поиски и надежды ни к чему не приводили. Работодатель хотел либо опыта бухгалтерской работы не менее пяти лет, либо все той же тривиальной мзды за мое обустройство, хотя на испытательные сроки охотно брал. По завершению оговоренного периода, в котором на правах полноценного сотрудника я пахала как проклятая, меня хвалили за помощь, желали дальнейших трудовых успехов и, не заплатив ни копейки, отпускали в свободное плавание. Когда в третий раз сценарий повторился, я рыдала, беспомощно стоя в кабинете директора.

— Вы же экономист, дорогая, вы же должны понять, сейчас трудные времена, и оплачивать лишних сотрудников я не могу.

Я вытерла слезы и поняла, что моя значимость испустила последние конвульсии.

— Я понимаю.

Знания — зло. Они порождают потребности, амбиции, а неспособность их реализовывать — убивает. Если голова пуста, легче найти место в жизни: занимаешь свободное. Официантки, продавцы, уборщицы нужны всегда, но, если тщеславие кружит голову, придется сначала убить его безденежьем, поисками, неосуществимыми надеждами, а потом с неотягощенным сознанием согласиться на любой труд, который первым подвернется под руку. К счастью, гордость уже не мешает.

Моя жизнь — болото. Если не сопротивляться, засасывает медленно, успеваешь привыкнуть, если дергаться — проглотишь вонючей жижи и успокоишься. Я ненавижу все вокруг тихо и люто. И себя ненавижу, потому что быть частью тлетворного болота омерзительно. Я зло усмехаюсь, когда говорят о справедливости и «всем воздастся по заслугам», утешаясь лишь тем, что есть люди, которым хуже. Видимо, моя судьба — влачить убогое существование с поверхностной вертихвосткой Женькой.

Я точно знаю, что существует другой уровень жизни, отношений, другие люди, но я не представляю, как выйти на него. Что надо сделать, чтобы после стольких неудач найти надежду на крошечный кусочек удовлетворения и новые попытки? Иногда я представляю себя обеспеченной, счастливой, веселой, но мне все труднее включать воображение. Решительно ничего из того, о чем я мечтала, не сбылось. Наверное, мечтательность вскоре атрофируется и, как значимость, станет жалким, иссохшим рудиментом.

— Давай, все бросим к чертовой матери и поедем в большой город, — предлагает Женька.

У меня нет денег все бросить к чертовой матери и переехать в большой город. Небольшой запас денежных средств я исчерпала периодами стажировки и поиска работы. У меня даже нет денег на новые босоножки.

— Подождем лучших времен, — говорит Женька-оптимистка, — знаешь, что я загадала на Новый год? Чтобы мы выиграли один миллион гривен!

Меня трогает забота Женьки, слеза катится по лицу. Красочность мечты ослепительна, неправдоподобна.

— Женя, спасибо, у тебя доброе сердце, — обнимаю ее я. Кажется, она единственный человек на этом свете, способный желать мне добра.

— Да все будет хорошо! Перестань!

— Обязательно будет, — отвечаю и очень хочу поверить. Очень-очень…

Моя остановка. Надо выходить. Испытание утром закончено. Пришло время трудовых свершений. Открываю двери магазина. Включаю глупую мигающую витрину с надписью «Добро пожаловать», надеваю фартук. Женька, как всегда, опаздывает. Покупателей не приходится ждать, и первое, что их интересует, свежее ли молоко, печенье, колбаса, сыр или что-то друге, занявшее их внимание.

— Свежее, — отвечаю одно и то же сто раз в день.

Люди не понимают слов, люди понимают чувства. Получая мой негатив вместе с печеньем, они торопятся отплатить тем же:

— В «Маричке» такое печенье на руб тридцать дешевле, и маргарин дешевле…

— Покупайте там.

— Почему вы мне хамите?

— Я рекомендую.

Как же я вас всех ненавижу.

Капусту будешь?

* * *

Привет, дорогая! Знаешь, я тут подумала, что большинство взрослых не способны чувствовать настоящее. Люди либо придаются мечтаниям, выстаивая радужные картинки будущего, либо погружаются в прошлое, крутя бесконечные внутренние диалоги, и заполняют сознание прошедшими переживаниями, событиями. Тебе кажется это странным? Мироощущение взрослых во многом отличается от детского, привыкай.

Реальности, вероятно, не существует. Люди не обучены в ней находиться. В школе вам твердят, что нельзя жить одним днем, что ориентир надо брать

на светлое будущее и ежедневно, тщательно планировать жизнь. Так? Вот и выходит, что ощущение настоящего старательно выбивается воспитанием, хотя такими способностями изначально обладает человек. Радостный спуск со снежной горки, на санках, в трескучий мороз, вспомни. Вот это и есть яркое, настоящего ощущение счастья, без примеси ожиданий или опыта прошлых переживаний. Абсолютное, безусловное счастье. И только в детстве может быть такое: настоящее, правильное.

Сегодня забегала в магазин, смотрела туфли на осень, а девушка-продавец сказала, что в скором времени будет новый завоз товара и мне стоит подождать. И, знаешь, я не стала покупать премилые туфельки, которые решительно нравились мне. Я решила подождать лучшие. А потом жалела. Опять в угоду прекрасному будущему принесена жертва настоящего.

Я к чему это все говорю? Дорогая моя, обязательно чувствуй настоящее! Запоминай его. Не думай, что будущее будет лучше сегодняшнего. Жизнь — это то, что сейчас, в данный момент, а чувства, переживания и эмоции, заполняющие человека, уникальная карта, идентифицирующая его личность. Пожалуйста, включи накопительную функцию этой карты, ощущая беспричинные приступы счастья сегодняшнего дня.

* * *

Привет! Знаешь, что я делаю? Ем арбуз. Ем точно так же, как ты. По рукам, до самого локтя, течет сладкая розоватая вода. С подбородка тоже стекает. Щекотно. Смахиваю влажной ладонью липкий сок с лица, цветастым кухонным полотенцем с ржавыми марашками вытираю руки и продолжаю выковыривать черные косточки из арбузной рыхлой мякоти. Быстро разрастающаяся овальная лужица отражает окно, а ветки деревьев танцуют в ней странный танец. Скользкими косточками обрамляю живую картинку и чувствую себя счастливой! Как же мало нужно для счастья!

Наелась, наконец. Алая жижа переполняет меня так, что и вздохнуть тяжело. Пойду — умоюсь. Пора приниматься за взрослые, неотложные дела.

К вечеру на арбуз налетела стайка мошек. Салфеткой сгоняю их. Разлетевшись в испуге, они заполняют мелкими точками стену и ожидают новый беспрепятственный доступ к кормушке. Сгоняю их вновь и вновь. А они упорствуют, рассчитывая на мою милость. Наглые.

* * *

За моим окном траурное шествие. Кто-то умер. Небольшая группа людей провожает усопшего. Почему говорят, что нельзя глядеть в окно? Не знаешь?

Смерть делает человека значимым. Помнишь, когда тебе было лет восемь, на нашей улице умер дед Василий. И все кругом стали говорить, каким хорошим человеком был Василий Иванович, хотя раньше многие с ним не здоровались, не замечали, торопясь по своим делам. Но на прощальный его бенефис — вынос гроба — собралась почти вся улица, и оказалось, что огромный кусок внимания и всеобщей любви можно отхватить только один раз в жизни.

Многие плакали у его гроба. Кто-то из жалости, кто-то подхватив печально настроение, кто-то вспоминая свои невыплаканные беды. У чужого гроба часто плачут о своем.

Бабушка, как и другие соседи, пришла прощаться с дедом Василем, взяв зачем-то и тебя. И ты тоже плакала. От страха. Боялась человека с желтым восковым лицом и потемневшими ногтями, лежащего в гробу. А еще было противно, что покойника целуют в лоб. Бумажка с церковным текстом, покрывающая чело, казалась тебе отвратительной.

Из детей ты была не одна. Многие соседские ребята, как и ты, пришли со своими бабушками. Их мамы в дневное время были на работе.

— Все там будем, — сказала бабушка, когда вы возвращались с ней домой, и тогда ты перестала бояться, осознала, что смерть — это естественно. Бояться нечего. И противного ничего нет — просто желтые останки когда-то здравствующего, живого человека.

— Бабушка, а он хорошим человеком был, правда? — спросила ты.

— Никаким. Ни себе добра не сделал, ни другим, — честно ответила бабушка.

— А почему все говорят, что хорошим?

— О покойном либо хорошо, либо ничего.

— Почему?

— Так принято…

Неискренность бывает оправдана. В данном случае, непривлекательная правда уступила посмертному обычаю.

Дети хорошо чувствуют события. Смирение, диктованное трагедией, родило в них терпимость к таким аутичным личностям, как ты. В тот день дворовая детвора не прогоняла тебя как обычно, а приняла к себе. Играли «в магазин». Расчетными ассигнациями были вишневые листики, и, рассчитываясь за покупку, тебе безумно хотелось быть продавцом, но на такую роскошь не посмела рассчитывать. Само по себе чудо — не быть изгоем, рождало в сердце запредельное счастье. Позднее ты решишь не играть в чужие игры, где правила устанавливают сильные, а слабые довольствуются малым, но это будет не скоро. Тебе еще столько раз предстоит уходить в слезах в разгар веселых игр…

Потом позвали на помины. Красный компот в стакане. Пирожок сверху. Борщ. Селедка. Бабушка перекрестилась и принялась за еду. Тебе решительно не понравился борщ…

Интересно, кто этот человек в гробу, которого несут за моим окном? Кем он был? Каким он был? Что думал на пороге смерти? Просил ли Бога продлить минуты, отведенные на земное существование? Или просил Божей милости детям, внукам? Или, измучившись болезнью, не нашел сил на мысли и просьбы?

Есть в смерти что-то притягательное. За ее чертой другое понимание, другая реальность, боязнь которой диктуется инстинктом самосохранения — важнейшим человеческим инстинктом, но познание вечности с пространственно-временной свободой делает смерть заманчивой и значимой. Страх и аттракция — щекотливая игра разума.

Хотя, может, реинкарнация — вымысел, а свежая земляная насыть на кладбище — последнее доказательство существования человека, которое в несколько лет выровняется, утрамбуется в памяти родственников, и исчезнет, оставив темную вечность в граните?

Православные обряды своеобразны. Нагромождение мраморных, габбровых надгробий, хаотично расположенных, окруженных заборчиками и выгоревшими цветами — зрелище убогое, унылое. Я бы предпочла сожжение. Не хочу на себе познавать биологические законы гниения и разложения. Не хочу такой вечности.

* * *

Дорогая моя, здравствуй!

Я знаю, тебе сейчас очень тяжело. Кузю, любимого кота, убили и нужно найти в себе силы пережить трагедию. Не представляю, что сказать тебе, чтобы утешить. Сама до сих пор плачу, когда сталкиваюсь с человеческой жестокостью.

Мне жаль, дорогая, что есть злые люди, срывающие свое плохое настроение на меньших братьях или развлечения ради их убивают, но, видимо, такова человеческая природа. Звериное, хищное начало невозможно победить никакой эволюцией.

Кузю очень жаль. Он был прекрасный черно-белый кот, смирный, флегматичный, позволяющий заматывать себя в пеленку, когда ты играла с ним в «дочки-матери». У тебя никогда больше не будет такого кота. А сегодня бабушка в последний раз завернет его в старое полотенце, отнесет в огород, и закопает под забором. До самых морозов ты будешь ходить к нему. И украдкой плакать.

Моя маленькая девочка, я очень-очень хотела бы сказать тебе что-то утешительное, но не могу подобрать слов. Слезы катятся из моих глаз даже сейчас, от воспоминаний.

Знаешь, что делает человека бессердечным? Жестокое детство. Любовь, сострадание — приобретенные способности, и невозможно научить им ребенка, не подарив родительского тепла и заботы. Получив запас любви, ребенок охотно поделится им с окружающими, иначе — отомстит за обделенность, превзойдя в изощренности своих учителей. Избитая фраза «насилие порождает насилие» в очередной раз подтверждает свою истинность, а «непротивления злу насилием» — всего лишь красивая философия, далекая от реального положения вещей…

Тебе обязательно скажут, что нельзя так сильно расстраиваться из-за животного, что нельзя дни на пролет рыдать, ослепительно остро переживая потерю, но ты не слушай. Плачь, если болит. Со слезами выйдет горе, а оставленное, не выстраданное обернется болезнями. Это называют психосоматикой, но пока ты не знаешь таких слов.

Озадаченная многодневным гореванием, мама выскажет предположение, что на ее могиле, ты, наверное, плакать будешь меньше. Не обижайся. Просто мама отчаялась тебя утешить.

Говорят, с годами острота чувств притупляется, сердце каменеет. Это не так. Скорее, меняется образ жизни. Ты научишься оберегать себя, избегая жестоких разговоров и людей, не отважишься заводить животных, перестанешь смотреть фильмы про войну, где обязательная смерть омрачает чье-то счастье, а трагическая музыка разрывает душу. Острота не притупляется, и люди не меняются. Ты будешь вновь и вновь переживать несправедливость, шмыгать носом, и стесняться своей инфантильной чувственности…

Желая восстановить баланс справедливости, жизнь, конечно, с нечастой периодичностью будет врываться в твою ракушку, сбивая с ног холодным порывом мерзких новостей, но ты найдешь способ их преодолевать — жалеть бессердечных людей и оправдывать их бессердечную судьбу.

Плачь, моя милая. На смену горю обязательно придет радость — это еще один баланс мироздания, а чередование черных полос и белых нужно для того, чтобы радость ярче ощущалась и не приедалась.

Крепко тебя целую, родная, обнимаю, люблю.

* * *

Дорогая моя, не стоит слушать взрослых! Мама велит тебе поступать именно так, но поверь, большинство взрослых ничему толковому не способны тебя научить. Внедряя глупые стереотипы, надевая социальные шаблоны, они без зазрения совести загубят твою индивидуальность и назовут это воспитанием. Или социализацией, которая будет сводиться к банальному подгону тебя под общие, веками выстроенные стандарты, необходимые для легкого управления.

«Так принято», «так положено», «так надо» — инструменты взрослого воздействия, но, если осмелиться, спросить: «кому надо?», «кем принято?», — получишь заикающийся, размазанный, невразумительный ответ. Хотя вернее получить подзатыльник за неуважение…

Помнишь, у классика? (Конечно ты не помнишь, точнее, еще не знаешь.) «А судьи кто?». Прекрасный вопрос. Посмотри сначала на воспитуемых, а потом реши, стоит ли внимать их воспитание.

Я говорю сложно, да? Наверное, тебе многое не понятно, но, думаю, ты почувствуешь мою мысль, интерпретируя ее значение в понятном тебе варианте. Вопреки распространенному мнению, люди не способны понимать слов. Люди понимают чувства. Даже на расстоянии, даже спустя годы. А речь — необязательная, несовершенная форма передачи чувств, она лишь для информации. Знай это, ладно?

Ничему нельзя научить словами. Это я сейчас бросаю камень в огород традиционного семейного воспитания с нотациями. Научить можно только примером. Мать, которая с девяти до часу продает кофточки на рынке, напрасно надеется, что подрастающая дочь станет доктором философских наук. Ребенок впитает родительскую модель поведения и будет жить так же, как его мать или отец. Возможна, конечно, генетическая память, следуя которой найдутся корни более трудолюбивого и способного к умственному труду предка, но это при наличии таковых корней…

Хорошо взвешивай, сортируй, отсеивай любые напутственные речи и обязательно смотри на самого советующего. По его жизни легко судить об эффективности рекомендаций.

— Тебе трудно будет в жизни, — говорит мама, — ты упертая, скрытная, не слушаешься. Себе на уме. Витаешь где-то. Ничего вокруг не замечаешь. Так нельзя!

Мама не права. Так можно. Мир воображений и размышлений характеризует интроверта, но маме-активистке не понять желания уединения. Ей кажется это ненормальным. И тревожит ее.

— Главное, хорошей хозяйкой быть! Учись готовить, убирать, стирать. Семья на этом держится! — учит тетя Ира, мамина подружка, забывая, что ее муж, уставший от засаленных халатов жены и вечных бигуди на ее голове, еще недавно был прочно влюблен в моложавую соседку снизу и всерьез подумывал создать новую семью.

— Чему вы ребенка учите? — вступается крестная. — Дети — вот, что главное. Пусть рожает, не затягивает.

Больной вопрос крестной очевиден. Она пытается предотвратить возможные трудности, используя свой опыт.

— Пусть лучше карьеру сделает! Это дает независимость, — еще одно мнение взрослого человека.

Дорогая, все эти советы либо пример собственной привычной жизни, либо мечты, на реализацию которых не хватило сил. Вряд ли кто-то скажет тебе, что лучше всего прислушаться к себе. Ты — единственный человек, который точно знает, как надо жить, чем заниматься, и, поверь, если оставить право выбора за собой, то перспективы общей серости и стереотипности не смогут угрожать. Это дорогого стоит. Помни, учится надо у лучших, успешных, ярких, с искоркой в глазах и харизмой в душе. Держись, дорогая. Будет трудно, но стоит борьбы, поверь!

* * *

Не успела пообедать дома, забежала в кафе. Заказала омлет и какао. Все еще надеюсь, что когда-нибудь мне подадут омлет, как в школьной столовой:

пышный, пористый, высокий. Ожидания оказались тщетными: тягучий сыр распластался на плоской яичной поверхности и напоминал липкую паутину в осеннем лесу. Вилка вытягивала его в длинную нить, накручивала. Ничего общего с той воздушной массой, запечатленной в детской памяти.

Какао тоже не понравилось. Точнее, оно вышло самым обычным. Такое я и сама умею готовить. Наверное, добавили много молока. В школьных столовых исключено понятие «много», поэтому в самый раз было соотношение воды, молока и сахара. И соли, кажется.

Допивая какао, задумалась: почему, то самое обыкновенное какао, самый обыкновенный омлет, спустя годы кажется такими вкусным? Может, все родом из детства имеет необычайные вкусовые оттенки? Или в школьной столовой и вправду умели хорошо готовить?

Помнишь, ты любила обедать у подружек? Чужая кухня отличалась от домашней, надоевшей, и тебе нравилось попробовать что-то новенькое в гостях, а потом рассказать бабушке о пищевых предпочтениях других семей. Бабушка всегда внимательно слушала твои рассказы, поскольку накормить худенького, напрочь лишенного аппетита ребенка, было задачей непростой и ежедневной.

— Такой вкусный гречневый суп ела! — говорила ты, придя от Дашки.

— Приготовлю, — охотно встречала бабушка твой энтузиазм и на следующий день варила гречневый суп, но вопреки ожиданиям, поковыряв ложкой, ты не находила ничего оригинального в бабушкиной еде и отставляла тарелку.

— У Дашки вкуснее…

— Опять ничего не ест, — жаловалась бабушка маме.

— Чем она живет? Не понимаю, — удивлялась мама. — Одна кожа и кости. Ее надо посадить в сетку и как гуся откармливать…

Взрослый эквивалент поесть чего-то новенького — поход в ресторан. Детский — вынести во двор свежеподжаренные оладики, угостить ими друзей, и кушать наравне со всеми, испытывая новые оттенки удовольствия от еды и дружбы. Детвора вмиг расхватывает лакомство, невзирая на грязные руки и недозволенность перебивать аппетит в предобеденный час. А однажды Алешка (помнишь?) вышел на улицу с хрустящей корочкой хлеба, натертой чесноком и присыпанной солью, дразня голодных детей умопомрачительным ароматом. Нехитрое кушанье казалось таким восхитительным! Все просили откусить, но Алешка отказывал. Только Сашке разрешил. В отместку жадному другу Дашка вынесла два бутерброда с вареньем: один себе, другой — тебе, внеся справедливость в ваши недружные ряды. Алешка обиделся, ушел. Сашка — за ним. Игры в тот день не получилось.

Я заплатила за обед, вышла на улицу. Холодный ветер налетел на меня. Съежилась. Трактор впереди рыл яму, уродуя асфальт, тарахтел железными суставами, фыркал, грохотал. Вспомнился Алешкин отец-тракторист. Алешка боялся его как огня, и норовил убежать, завидев еще вдалеке.

После неудачного дня с бутербродами, засидевшись дома, соседские дети вновь вышли на улицу. Ты тоже вышла. На этот раз Алешка вынес большой тюбик красной гуаши и предложил рисовать. Кисточки — забыл. Тыкая пальцами в красную краску, все по очереди рисовали на заборе бабы Марии модного тогда Тома с Джерри, дополняя мазки предыдущего своими. Получилась зверская картина окровавленных животных, но Алешка сказал, что вышло красиво, и пожалел, что рисовали не на его заборе.

Когда краска почти закончилась, и извлекать ее пальцами было неудобно, Дашка вытрусила густую гуашь на ладонь и размазала.

— Как перчатки, — заключила она.

Ты и Сашка охотно повторили красные перчатки на своих руках. Алешка решил отличиться и попросил оставить отпечатки ладоней на его спине. Чтобы следы получились четкими, все принялись звонко шлепать Алешку

по голой спине. Вдруг за поворотом показался трактор. Алешка хотел бежать, но расстояние не позволило бы ему остаться незамеченным, тогда в отчаянии он спрятался в траве. Из высокой кабины трактора Алешкин отец увидел израненного сына, испуганный, выскочил, поднял его, и, обнаружив вполне цветущего, но грязного отпрыска, влепил Алешке звучный подзатыльник и заругался отборнейшим пролетарским матом.

Алешку загнали домой.

— Я пойду домой, вымою руки и выйду, — сказала ты Дашке, чувствуя, как неприятно тянет кожу потрескавшаяся краска.

— Лопухом потрите, и дело с концом, — вмешался Сашка, — а я пока сбегаю за Олькой, Денисом и Анькой. Будем играть в «дурака». Три на три.

С Олькой, Денисом и Анькой ты предпочитала не связываться. Они были старше, сильнее, и игра с ними обычно заканчивалась слезами и обидой. Они мстили тебе за неприспособленность, неловкость, и играть в «дурака» было не обязательно, чтобы оказаться в рядах высмеянных и отвергнутых.

— Я пошла мыть руки, — повторила ты.

— Я тоже пойду, — поддержала Дашка.

В тот день ни ее, ни тебя из дому больше не выпустили. Засохшую гуашь не так-то просто отмыть и несколько тазиков воды, которые один за другим меняла бабушка, неизменно окрашивались в алый цвет, не принося должной чистоты рукам. Ты вновь и вновь крутила мыло, вновь кровавые, пенные потоки стекали по стенкам эмалированной посудины, бабушка вновь меняла воду, ругалась, и, казалось, этот мыльный цикл продолжаться будет вечно.

— Игры другой не было? Нашли, чем поиграться, — выговаривала бабушка.

Обычно после купания бабушка давала полотенце, но сегодня принесла старую футболку, которая была тебе мала, и велела вытирать руки об нее. Красные следы обозначили твое прикосновение.

— Не знаю я, чем оттирать твои руки!

Китайское платье тоже было испорчено. Бабушка в сотый раз налила воду в таз, всыпала порошок, начала стирку. Краска не поддавалась ее натиску, пятна не сходили с белой оборки. Бабушка вновь ругалась, вновь меняла воду, вновь терла платье…

Ты грустно сидела на скамейке и выковыривала красную полоску из-под ногтей. В глазах прыгали красные зайчики. Интересно, чем отмывали Алешкину красную спину? Ночью тебе снилась Красная Москва и Красная Площадь, которая флаги полощет. Этот сюжет тебе помнился из «Разноцветной книги» Маршака, которую когда-то читала мама, но теперь красный цвет означал не только величие коммунизма в стране. Утром пришла баба Мария и пожаловалась на изрисованный «глупостями» забор. Пришлось елозить красную мыльную жижу. Хорошо, что начался дождь…

Удивительно, одинаковое детство может складывать разные судьбы. Едва достигнув совершеннолетия, Алешка получил срок за воровство. Говорят, украл чей-то мотоцикл. Баба Нина, Алешкина бабушка, считает, внука подставили. Баба Мария, соседка, утверждает, будто бы Алешка всегда промышлял подобными делами и заслужил наказание. Отбыв три года исправительного срока, Алешка подался в Москву к друзьям и сейчас работает слесарем в автомастерской. Слышала, хороший слесарь. Дашка закончила иняз, преподает английский в школе. Сашка — большой начальник. Он главный инженер на металлургическом заводе. Я же… Это не важно…

* * *

Октябрь. Холодно. Очень люблю раннюю, сентябрьскую осень и ненавижу позднюю, потому что трудно согреться. Утро, не успев начаться, заканчивается

вечером, толком не осветив дня. Угрюмо. Тоскливо. Все время хочется спать. Как же трудно жить под низким, тяжелым, хмурым небом с грязно-серыми разводами туч. Наверное, в прошлой жизни я впадала в зимнюю спячку. Иначе не могу объяснить ежегодную осеннюю апатию и хандру. Хочется сиднем дома жить, закутавшись в плед, не утруждаясь вылазками на свет Божий аж до весны.

В этом году холода наступили необычно рано. Снег выпадал третьего октября, обрушив тяжелую влагу на зеленые листья, не успевшие пожелтеть. Грузные ветви свисают до самой земли, ломаясь от несвоевременной монохромной щедрости. Жалко выглядывают в снежных прогалинах оранжевые бархатцы. Пропущено бабье лето, не случилось листопада, даже блестящих каштанов в колючих скорлупках не успели насобирать.

Помнишь, ты каждый год собирала огромную сумку каштанов? И до самого Нового года хранила их в шкафу, а, когда ядра ссыхались, становясь некрасивыми и морщинистыми, бабушка растапливала печку во флигеле и бросала их в пламя. Они взрывались, стреляли, пугали глухими низкими хлопками, напоминая войну. Бабушка говорила, что каштаны можно запекать и кушать, но тебе никогда не хотелось их попробовать.

Как же прекрасно все новое! Первый снег и грязь — раздолье для ребенка и жуткая тоска для взрослого. Снежки из мокрого снега — развеселое удовольствие, и нет большей радости с разбегу прыгнуть в широкую, коричневато-рыжую лужу со снежной пенкой. Еще, конечно, можно изучить дно лужи, медленными шагами отмеривая ее от края до края. Хорошо, что придумали резиновые сапожки!

Помню, ты утверждала, что у тебя с Дашей одинаковые сапоги. Мама недоумевала, говоря, что твои красные сапожки ничего не имеют общего с Дашиными синими.

— Они одинаковые, — настаивала ты.

— Где одинаковые?

— Тут, — утверждала ты, показывая на подошву, а потом оставила свой след около Дашиного, и выяснилось, что рисунки подошв идентичны.

Мама улыбнулась. Ты почувствовала ее уступчивость, застыдилась своей глуповатой детской непосредственности, и захотела побыстрее вырасти. Ты часто хотела побыстрее вырасти.

Откуда в твоей восьмилетней голове взялось желания зрелых взглядов и обоснованных рассуждений? Я до сих пор не найду этому объяснений. Почему тебе никогда не доставляло радость быть маленькой? Почему подружка-Дашка в приступах шалости, оправдываясь, говорила: «детям все прощается», — а тебе никогда не нравились эти скидки за невзрослость?

Говорят, возраст определяют не по паспорту, возраст — состояние души. Наверное, это так. Тебе никогда не было десяти, пятнадцати ли двадцати, твой возраст, определенно, превышал беззаботный период, куда все хотели бы вернуться.

«Где мои семнадцать лет на Большом Каретном?» — любит говорить мама, а тебе ни разу не захочется вернуться в тот странный, полный робких проб и взрослого надзора возраст.

— Выпьем за твои семнадцать, — поднимали гости тост на твое тридцатилетие.

— Мне тридцать, — поправила ты.

— Тогда выпьем за тридцать, — соглашаются гости: им все равно, за что пить.

То время, школьное, детское, тянулось бесконечно долго. Сейчас летит. Может, потому что жить стало легче и лучше? Или прав умный Копица утверждая, что скорость исторического времени напрямую зависит от скорости и объема

обрабатываемой информации? Сегодня за одну минуту перерабатывается столько же информации, сколько первые люди перерабатывали за тысячу лет, поэтому ощущение быстротечности времени из года в год нарастает.

Еще говорят, что неизбежна технологическая сингулярность, при которой информация будет настолько сложной и объемной, что перестанет быть доступной. Наверное, это тоже имеет смысл. На введенный запрос поисковик предоставляет несколько тысяч ссылок и дефицитность информационных средств — атавизм прошлого.

Дорога моя, до приятного полета еще так далеко! Придется опериться, окрепнуть, получить множество полезных уроков, которые, в отличие от приятных, будут горькими, но опыт приходит только так. Иначе не получится. Дорогая, держись! Это очень важные жизненные экзамены!

* * *

Привет, давай в этот раз поговорим об ошибках? Знаешь, какой поступок я считаю самым неверным в твоей жизни? Верх абсурда с твоей стороны — награждать своим мнением личную жизнь другого человека. Помнишь, как все было?

Твоя подруга Зойка влюбилась во взрослого мужчину. Он был лет на пятнадцать старше, женат. У него был ребенок, и на момент знакомства с Зойкой ни о каком разводе речь не шла.

Зойка влюбилась до беспамятства. Она все время говорила о многочисленных добродетелях своего избранника, об особенности, фееричности их отношений, о страстном, удивительном сексе, который, как известно, случается только у истинно любящих людей. Даже прекрасную девочку Полю, дочку своего суженого, Зойка успела полюбить материнской любовью.

Тебе было шестнадцать, ты считала, что знаешь о жизни все. Ты посоветовала Зойке немедленно бросить неподходящую партию и привела множество аргументов в пользу своей правоты, но Зойка отчаянно отстаивала свою любовь. Она говорила, что ее драгоценный Паша живет с женой только ради ребенка, что между супругами давно нет близких отношений, что он готов оформить развод в любой момент и жить с Зойкой, когда только ей захочется.

— Почему тогда вы встречаетесь тайно? — рубила ты с плеча.

— Это временно. Он поговорит с женой в ближайшее время.

Ты была непреклонна. Ты настаивала. Зойка тоже. Вы чуть не поругались, а спустя месяц Зойка сказала, что Паша ее бросил. Он уехал с женой и дочкой в неизвестном направлении, не обмолвившись и словом об окончании отношений с твоей подругой.

Зойка грустно глядела вдаль, говоря тебе эту новость. Чувствовалось, что непомерно огромное горе она выплакивает в ежедневных страданиях. Вы молчали какое-то время, а потом она добавила:

— Это ты сглазила мое счастье… — и слезы брызнули из глаз Зойки.

Никогда еще тебе не было так плохо от собственной правоты. Отчаянно ясно ты тогда почувствовала, насколько необоснованно награждать своим мнением чью-то жизнь. Насколько заносчиво определять «правильные» и «неправильные» отношения. Ты понесла заслуженное наказание. Очень болезненное наказание.

С Зойкой вы больше не были подругами. Характер отношений стал поверхностным, хотя видимая их сторона не изменилась. В кругу общих знакомых вы так же задорно хохотали, друг над другом подтрунивали, но ты чувствовала, что Зойка опасается говорить что-то личное.

Знаешь, что мне не понятно до сих пор? Почему ты, чувствуя вину, не попросила тогда у Зойки прощения? Почему не сказала, что желала ей лучшего? Почему не выложила того, что было на душе? Наверное, обескураженная сильным ударом, ты торопилась спрятаться и пережить горький опыт, поневоле заблокировав чувства. Не в силах сказать главного, ты молча усваивала полезный урок и делала выводы на будущее, зарекаясь никогда-никогда не позволять себе мнение о чужом выборе.

А Зойка вскоре встретила новую любовь. Вышла замуж. Кандидатура избранника была удачной, но на свадьбу тебя не позвали.

* * *

Завтра рано вставать, но что-то не спится. И ладно. Заварю зеленый чай с жасмином, залезу с ногами на диван и буду говорить с тобой. Слушай.

Заметила за собой, что, когда я собираюсь побыстрее закончить разговор с неинтересным собеседником, я часто машу головой, бесспорно соглашаюсь со всеми его доводами, и делаю несколько шагов в сторону, давая понять, что тороплюсь. Так делала мама, и мне всегда не нравилось ее явное неуважение к мыслям окружающих. А теперь сама поступаю точно так же. И никаких сожалений по поводу невысказанности других не испытываю.

Удивительно, но как же предсказуемы, как же предопределены и алгоритмизированы наши действия. Впитывая подсознательно родительскую модель поведения, мы не в состоянии менять шаблоны реакций, накопленные в детстве. Даже если очень хотим.

Мой дальний родственник Вовка все свое детство ненавидел отца за то, что тот когда-то оставил их с мамой, предпочтя более молодую и более красивую пассию. Но вот что интересно, сейчас Вовке сорок, он женат уже в третий раз, и, кажется, этот брак, как и предыдущие, долго не продлится. По папиным стандартам, забыв детские обиды, Вовка оставляет своих жен с маленькими детьми и едва ли осознает безмолвную, но прочную связь с отцом.

Моя парикмахерша неизменно выбирает себе в мужья алкашей. Сначала, понятное дело, ее избранники милые, внимательные, непосредственные, спонтанные. Все, как один, дарят много цветов и подарков, все утверждают, что жить без нее не могут, а потом, удобно заняв Оксанкину кровать и сердце, начинают свои запои. Почему Оксанка выбирает алкашей? Таких мужей выбирала ее мать. А Оксанкина бабка пьяной сгорела в бане.

Помнишь, мы говорили про Зойку? Как назидательно ты воспитывала ее? Так вот, твоя реакция на Зойкиного женатого ухажера была типично маминой — осуждающей. Все, что не укладывалось в выстроенные мамой рамки, ты осуждала, повинуясь подсознательному штампу поведения. Увы, ты даже не могла себе представить другой уровень понимания.

Мама очень редко тебя хвалила, но в тот день, когда ты рассказала ей, почему больше не дружишь с Зойкой, она принялась расхваливать тебя.

— Правильно, нечего за женатыми волочиться. Ты ей все верно сказала, а она, дура, не послушала. Пусть теперь знает!

На самом-то деле, мама расхваливала вовсе не тебя, а свои правила, которые она внедрила и которые ты соблюдала. Мама никогда не хвалила твоих собственных, не согласованных с ней соображений.

* * *

Рассыпала сахар. Примета говорит — к радости и любви. Очень интересно.

Отворила дверцу под мойкой, чтобы взять веник и подмести, но мусорное ведро отзывается тошнотворной вонью. Придется идти на помойку. Не хочется, а надо.

По дороге думала: почему демографы бьют тревогу? Людей развелось слишком много, планета загажена, ресурсы исчерпаны, земля не успевает обновляться. Одна только я несколько раз в неделю выношу мусор, а сколько нас таких?

Навстречу давняя знакомая. Одна из тех, с кем иногда хочется поговорить. Но недолго.

— Привет, — говорит мне.

Киваю ей в ответ, а она принимается взахлеб рассказывать, как с женихом ездила в Харьков и заблудилась на обратном пути. Сущую ерунду трещит. Но при этом такая счастлива! Наверное, счастье в том и заключается, что самые обычные, ничего не значащие моменты приобретают смысл и ценность.

Я стояла с мусорным пакетом, слушала, а она щебетала, щебетала, щебетала…

Ноги замерзли. Стоять в босоножках в середине осени холодно. Туфли я так и не купила, а шнуровать ботинки для похода на помойку было лень. Спешу прощаться. Машу головой, бесспорно соглашаясь, делаю несколько шагов в сторону.

— Ты торопишься? — спрашивает знакомая.

— Да,— отвечаю и через несколько метров, подойдя к мусорным контейнерам, выбрасываю синий вонючий пакет.

Наверное, я выгляжу странной. Босоножки не по сезону, наброшенное наспех пальто, неожиданная спешность, сбивающая собеседника с полуслова.

— Я рада за тебя, — говорю ей, освободив руки. Искренне говорю.

— И я рада, — отвечает и заливается удовольствием.

Хорошо ей. Пик влюбленности. Полнота жизни. Удовольствие и нега. Жаль, что я не способна так чувствовать…

Помнишь, свою первую влюбленность ты выдирала из себя, как прилипший репейник? Голова идет кругом, мысли сложить невозможно, а мама, заметив странные, но характерные проявления сердечной склонности, смогла все обставить так, что ты невольно застыдилась себя. В одночасье волшебный новый мир рухнул, ты показалась себе самой глупой, предмет влюбленности стал нелепым, а эйфорические ощущения, рождаемые гормональными всплесками, — недостойными, поскольку препятствовали постижению важных истин в математике и физике. Удивительно, мама не сказала ни одного осуждающего слова, но ты чувствовала унизительность своего положения, и захотела побыстрее избавиться от неправильных чувств, по возможности не возвращаясь больше к ним.

Люди не понимают слов. Люди понимают чувства. Телепатические способности — не феноменальное явление мозга, а обычное, будничное явление, которое в ежедневной практике используется как средство коммуникации и манипуляции. Мама доказала это экспериментальным путем. Тогда в четырнадцать, ты это поняла и, мучаясь побочными свойствами эксперимента, неделю просидела в своей комнате, восстанавливаясь из пепла.

По сути, мама спасла тебя от воодушевления, воображения и жизненной неэффективности. К чему это приведет? Цинизм, меркантильность, всезнайство, мизантропия станут главными твоими качествами, а любимый инструмент меры — судить и осуждать. Ты никогда больше не позволишь себе спонтанность; влюбленность с яркими вспышками счастья станет недоступной тебе, ты не научишься вырабатывать жизнелюбие и радость. Математику и физику тоже, увы, не выучишь.

Судьба, очевидно, существует. Только она выражается не в знаковых событиях, встречах, датах, а в ежедневной лепке тебя самого, которую с детства проводят родители, внедряя собственные умонастроения и опыт. Счастливый родительский опыт воспитает гармоничного человека, болезненный —

такого же несчастного. Выбор тоже существует, но условный. Заложенная программа позволит выбирать только правильные, одобренные воспитателем варианты и никогда — твои собственные.

Дома выметала сахар и думала, что примета, очевидно, работает, только счастье и радость приносит другим.

* * *

Оттенки смысла: старость, ветхость, дряхлость.

Моя восьмидесятилетняя соседка Валентина Никаноровна, воспользовавшись последними солнечными деньками, выбросила на просушку свое добро. Пальто, шубы, ковры. Все нажитое за жизнь выставилось на свет Божий и вмещаясь на трех длинных веревках.

Представь! Три веревки барахла, которое много лет разлагается, покрывается пылью, поедается молью, умирает. Отвратительное, убогое зрелище. Гниение, оказывается, может начинаться задолго до биологической смерти человека.

Когда открывается дверь Валентины Никаноровны, на входящего набрасывается агрессивный запах старости, сырости, лекарств, который еще долго стоит в подъезде, и сообщает жителям о сегодняшней прогулке пожилой соседки или визите родственников к ней.

Старость — тление, ветхость — убогость, скаредность — рвань…

Ужасно!

* * *

Поставила тушить капусту, влажный овощной запах разнесся по всей квартире, окна запотели, пропуская оранжевые пятна фонарей, за цветочными горшками на подоконнике выступили слезы. Выводя на влажном стекле узоры, я решила, что больше не буду говорить с тобой. Это последнее мое письмо. Я слишком углубилась в разговоры с несуществующим собеседником, увлеклась письмами в никуда, и опасения за свою психическую полноценность все чаще посещают меня.

Знаешь, что называют зоной комфорта? Представь две окружности. Одна в другой. Та меньшая — это прекрасный внутренний мир. Здесь хорошо, уютно. Здесь нет места превратностям и предательствам, и мои разговоры с тобой происходили именно в этой зоне. Я обращалась к тебе маленькой, к тебе подростку, говорила то правильное, что проверило себя годами, облегчала твои переживания, боль, объясняла непонятное, и, добиваясь удивительной умиротворенности, чувствовала гармонию и бесконечное счастье. Разговор взрослого человека с собой невзрослым дарит волшебные ощущения.

Странные, эйфоричные, запредельные беседы имеют удивительное свойство переводить сознание на другой уровень понимания, на другую орбиту осмысления, и, подобно квантовому скачку, нарушают фиксированную траекторию восприятия, изменяют мироощущение и душевное состояние. Разум обретает забвение, пронизывая тело тонким, божественным светом, небывалой энергией и мистикой, обогащая опыт реальности.

Господи, законы физика — это чувства, образы, мысли, а не глупые формулы, которыми исписаны все мои школьные тетради! Кажется, я знаю, почему не выучила физику. Я не научилась ее чувствовать…

Кедров прав. Будущее влияет на прошлое не менее сильно, чем прошлое на настоящее. Я действительно чувствую, что воздействую на течение жизни и событий, определяя их в двустороннем направлении. Обращая мысленный взор в себя, выворачивая время, переориентируя внешнее и внутреннее,

ломаю привычное понимание реальности, и сторонним наблюдателем гляжу на себя-девочку и себя-взрослую, которые сидят вместе на одной скамейке. Безумно хочется их обнять.

Наблюдатель обязательно влияет на свойства материи, которая занимает его, невольно или нарочно изменяя ее. В этом дуализм. Оставаясь далекой, незаметной, виртуальной, эфемерной, я воздействую на тех двоих, всем сердцем помогая им, скрепляя духовную связь, ощущая забвение единств. Прошлое и будущее сливаются до неразличимости. Времени больше не существует. Волной разлетаюсь в бесконечном полете, обретя непривычную свободу разума и безграничную свободу души. Катарсис неизбежен. Это приятное следствие эмоционального порыва.

Глубоко вдыхаю. Выдыхаю. Слышу частое биение своего сердца. Сознания обретает привычную совокупность успокоительных констант…

Надо прекращать с этой психоделикой. В зоне комфорта слишком хорошо и выходить в суровый, жесткий мир, отвлекаясь от ярких, отрадных образов и чувств, становится все труднее. К сожалению или к счастью, — я не знаю — жизнь человека имеет не только внутреннюю составляющую. Есть еще большая, социальная окружность, без которой не бывает полноценного существования личности. И реализация возможна только в социуме: кто-то должен оценить, понять, принять.

Общественные рамки тесны, формальны, ортодоксальны, негибки. В них постоянная борьба за лучший кусок, лучшее место. Здесь никогда не бывает комфортно. Общепринятые законы, диктуемые пространственно-временной несвободой, измеряются денежными знаками, рождают суету, шум и хаос. Здесь легко сломаться, потеряться в зыбких обиходных ценностях, и никто не заметит потери. Здесь страшно, одиноко, и выходить из привычной, понятной, теплой и обустроенной зоны комфорта очень тяжело. Но я ухожу. Я засиделась и все чаще опасаюсь, что, если не вырвусь сейчас, то не смогу уйти уже никогда.

Трудности в социализации очевидны. Они были изначально, преследовали с детства, и, наверняка, останутся навсегда. Люди не меняются, помнишь? И, если ранее необходимость выхода в группы диктовалась образованием, желанием дружить и общаться, то теперь все эти потребности с легкостью осуществляет интернет. Прогресс, оказывается, способствует отшельничеству.

Я ухожу. Прямо сейчас перестраиваюсь на большую орбиту жизни. Надо что-то делать, чему-то посвятить жизнь, как-то выстроить отношения с людьми, реализоваться, и обязательно вырваться из попеременной, заманчивой игры сознания с подсознанием. Забвение прошлого не должно стать забвением слабоумия.

Я перемешиваю капусту, солю ее, добавляю лавровый листик и черные сферки душистого перца, и, налив чашку чая с жасмином, веду наш последний разговор. Я прощаюсь с тобой. Я буду очень скучать за душевностью наших бесед и умиротворением после них. Мне уже сейчас не хватает тебя, хотя я только представляю нашу разлуку. А через несколько минут, когда приготовится капуста, и я сяду обедать, то, наверняка, захочу вновь начать неспешную беседу с тобой. Не могу же я, в самом-то деле, не вспомнить, как ты мучилась в те дни, когда бабушка тушила капусту и заставляла ее кушать. Ты кривилась, отворачивалась, говорила, что капуста плохо пахнет, что есть ее — мука, но бабушка была непреклонна и отвечала, что нет на свете блюда, которое пришлось бы тебе по душе. Кроме конфет, конечно. Ты вздыхала, ковыряла вилкой, оттягивая муку, и ожидала, что бабушка, вспомнив про какие-то неотложные дела, выйдет из комнаты и представится возможность отдать еду собаке…

От воспоминаний, сравнений придется отказаться. Увы. Ставлю на этом этапе жирную точку. Буду есть в тишине, размышляя о важности социума.

Что же до тебя… Ты, кстати, капусту будешь?

Маруся

1

Когда я спросила свою подругу Таньку, какая самая большая ее тайна, то ожидала услышать обыкновенную историю влюбленности, которыми богаты пятнадцатилетние девушки, но вместо этого Танька сказала совсем другое.

— Моя бабушка Шура не рожала мою маму.

— А кто родил твою маму? — удивилась я.

— Баба Маня.

— Которая приходит к вам каждый день, и всегда носит зеленый плащ? Странная такая?

— Да.

— А почему твоя мама называет мамой бабушку Шуру?

— Так сложилось.

— А как сложилось?

Танька вытащила синий «Бонд», угостила сигареткой, щелкнула зажигалкой мне и себе и, затянувшись, заговорила.

Сестры Иванченко были полной противоположностью друг друга. Маруся — высокая, статная, темноволосая, румяная, всегда веселая и энергичная, считалась красавицей, а за младшей, Шурочкой, закрепилась репутация упорной труженицы. Шурочка была несколькими годами младше сестры, но серьезность ее, хозяйственность, работоспособность, в разы превосходила сестрину. Помочь ли матери по дому, сварить обед, Шура могла уже в четырнадцатилетнем возрасте, а вот легкомысленная Маруся интересовалась лишь красивыми платьями да любовными романами, которые проглатывала один за другим, всякий раз впадая в забвение от красоты, полноты и яркости чувств главных героев.

Маруся с трудом осилила восемь классов среднего образования и стала учиться на швею, Шурочка же показывала удивительные способности не только в ведении домашних дел, но и в трудных математиках, физиках, химиях. Не поднимая глаз, кроткая, смирная Шурочка послушно заучивала теоремы и доказательства, тихо бубнила их у доски, получала положенные пятерки, а дома, так же тихо и смиренно, варила борщи и потчевала отца с матерью, вернувшихся с работы.

— От кому-то достанется умница наша! — говорил отец, хлебая горячий красный суп, а Шурочка по привычке, не поднимая глаз, слушала похвалу и скромно улыбалась.

— Маруся тоже научится! — вступалась мать.

— Научится. Выйдет замуж — научится! — охотно поддерживал отец.

Марусино замужество не заставило себя долго ждать. Вскоре объявился высокий, чернобровый Тимофей и с легкостью завоевал сердце старшей сестры. Марусе казалось, что воплощение всех добродетелей, о которых было прочитано столько книг, представлено в ее ненаглядном Тимофее. Ростом удался, широкоплеч, могуч, не беден — на шахте зарабатывает, красиво говорит о любви и даже пишет стихи. Один из них посвятил Марусе. Какая возвышенность, какая утонченность! Можно обезуметь от яркости и полноты чувств! Все так, как представляла себе Маруся, перелистывая страницы очередного романа.

Свадьбу сыграли в тот же месяц, не откладывая до осени, и молодые уехали вить семейное гнездышко в Ворошиловград — на родину Тимофея.

Семейная жизнь заладилась. Тимофей оказался добрым, хозяйственным, не пьющим. Он ласкал жену, говорил нежные слова, а сердце Маруси замирало от радости и абсолютного счастья. Вскоре родилась дочка Женечка — плод их большой любви, заполнив родительские чувства умилением, а будни — хлопотами, с которыми нерасторопная, не искушенная бытом Маруся справиться не могла. Вымотанная бессонными ночами, болезнями маленького ребенка, трудностями кормления и подкармливания, бесконечными пеленками и обедами, Маруся, отчаявшись управиться одной, вызвала в помощь младшую сестру.

Ни за что на свете Маруся не догадалась бы, что цена обустроенного быта будет непомерно высока и жестока; ни за что не подумала бы, что с появлением младшей сестры ее семейной счастье ежедневно и уверенно будет идти ко дну, составляя обратную, роковую пропорциональность чистым тарелкам, вкусной еде, уюту, порядку. Ни за что не заподозрила бы, что за спиной разыграется отчаянная, страстная любовь, не уступающая в силе ее собственной, еще недавно такой ощутимой и живой. Но Маруся ни о чем не подозревала, и, пользуясь налаженностью хозяйства, надевала свои красивые платья, расчесывала густые темные волосы, любовалась ухоженными ручками и выходила «в свет» посудачить с подружками.

— Марусь, что-то сестра твоя загостилась. Не пора ли домой? — спросила однажды соседка Маша, с которой Маруся подружилась еще в день переезда.

— Пусть живет. Она помогает мне. Без нее никак!

— А Тимофей не засматривается на Шурку?

— Да что ты говоришь? Она ребенок совсем! Пятнадцать лет всего. Школу не закончила.

— Это не помеха…

— Ты так считаешь?

— Так считаю не только я…— многозначно ответила Маша, оставив неприятный осадок Марусиной душе.

— А кто еще?

— Все…

Отягощенная людской молвой, Маруся вернулась домой и, желая развеять сомнения, заговорила с сестрой.

— Ты, наверное, осенью уедешь? В школу надо…

Шура молчала, складывая грязные тарелки в металлический таз. Холодное, бескровное лицо ничего не выражало, бледные губы с опущенными уголками были плотно сомкнуты. Безмолвно вылив подогретую воду в таз с грязной посудой, Шура принялась елозить тряпкой и, казалось, не замечала сестры.

С удивлением Маруся отметила, что младшая сестра больше не маленькая девочка, какой привыкла ее воспринимать, а вполне привлекательная молодая девушка: миловидное личико, тонкая, гибкая талия, высокая грудь. Вполне вероятно, что на Шуру уже засматриваюсь мужчины, отмечая ее красоту и кукольную изящность. Неужели Тимофей не исключение?

— Так ты уедешь, Шур?

Послышался плач Женечки. Маруся принесла ребенка из спальни, вытащила грудь для кормления, приложила дочь, и продолжила разговор.

— В самом деле, Шур, не век же тебе жить подле меня. Помогла — и будет.

Шура не отвечала, молча вымывая посуду.

В комнату вошел Тимофей. Услыхав обрывок разговора, он поторопился вмешаться.

— Марусь, ты сестру прогоняешь, что ли? Тебе помощница не нужна? Зачем Шуре уезжать? Мы к ней привыкли, не сможем без нее.

— Ей свою жизнь устраивать надо, доучиться надо…

— Кому нужна твоя учеба?

— Что молчишь, Шур? Ответь, — не унималась Маруся, но младшая сестра по-прежнему ничего не говорила.

Понимая, что добиться ответа от сестры не удастся, Маруся ушла и весь день ходила в раздумьях. С одной стороны, слова соседки-Маши задели ее: было неприятно, что муж может засматриваться на сестру, с другой, — так же удобно иметь кроткую, молчаливую помощницу! Решив не верить глупым сплетням, Маруся отбросила подозрения.

Ночью, прильнув к мужу в привычном порыве, ожидая нежности и ласк, какими обычно был щедр Тимофей, Маруся наткнулась на неожиданный холод с его стороны. Поцеловав жену в лоб, он отвернулся к стене и вскоре захрапел. Маруся почему-то заплакала.

Утром, проснувшись ранее обычного, старшая сестра заставила Шуру на кухне.

— Ты как будто и не ложилась, — заметила Маруся. Шура по привычке не ответила и продолжала помешивать кипящее молоко.

Выпив залпом стакан воды, Маруся собиралась было уходить, досыпать, но неожиданно в окне появился торс Тимофея. Опираясь на локти, он повис в оконном проеме и, держа в зубах букетик астр, шепеляво проговорил:

— Шурочка, награди любовью и поцелуем!

Занавеска колыхалась от утреннего ветра, то раскрывая его лицо, то закрывая. Очевидно, Тимофей был уверен, что кроме Шуры на кухне никого нет, и, позволив себе подобную вольность, наткнулся на жену.

— Это что такое? — изумленная вскричала Маруся.

Шура, опустив глаза, отмалчивалась.

— Как ты можешь? Он мой муж!

Маруся подбежала к сестре, отвесила оплеуху. Шура прикрыла лицо и отвернулась. В дом вбежал взволнованный Тимофей.

— Как вы могли? — недоумевала Маруся, заливаясь слезами, — Как могли за моей спиной?

Оба молчали. Не в силах скрыть отчаяние, Маруся убежала и, закрывшись в спальне, просидела одна до вечера.

— Послушай, Маша, у нас с Шурой любовь, — вечером объявил муж. Вероятно, весь день он обдумывал сложившуюся ситуацию и сейчас собирался сказать о своем решении.

— А как же я? — заволновалась Маруся.

— Я тебя не гоню. Будем жить, как жили, только женой мне будет Шура…

Оторопевшая Маруся не знала, что ответить. Она беспомощно хлопала ресницами, надеясь, что слезы перестанут наполнять глаза и куда-то денутся. Цепляясь за последнюю соломинку, она тихо проговорила:

— Я тебя люблю…

Тимофей, казалось, не услышал. Забрав свою подушку, он вышел.

Утром еще одну звонкую оплеуху Маруся влепила сестре.

— Убирайся вон, шлюха! Я не уступлю тебе мужа! — закричала Маруся, но Шура, вопреки традиции, не промолчала.

— Уже уступила, — прошипела Шура и поспешила пожаловаться Тимофею.

— Не смей поднимать руку на Шуру, поняла? Еще раз прикоснешься к ней — убью! — приказал он старшей сестре. Глаза Тимофея метали гневные искры, ноздри в ярости расширились, грудь от переполняющего негодования часто вздымалась; сомнений в серьезности его намерений не возникало.

— Я жена тебе законная, мать ребенка твоего, а она кто? — взывала Маруся к справедливости.

— У Шуры тоже скоро будет ребенок.

— Господи, Боже мой, — прошептала Маруся, прикрыв рот рукой, и слезы помимо воли покатились из глаз, — как же дальше жить?

— Так, как и раньше, — заключил Тимофей.

2

Ребенка Шура не выносила. Надорвалась, вытаскивая ведро из колодца. Несколько недель неподвижно пролежала в постели, почти не прикасаясь к еде.

Болезнь сестры Маруся расценила как кару небесную за грешную любовь и, надеясь на новый шанс для себя, стала собственноручно творить быт и счастье. Со всем рвением и ответственностью, на которую только была способна, Маруся бросилась за ведение домашнего хозяйства, не забывая прихорашиваться, чтобы вновь завоевать сердце мужа. Но Тимофей едва ли замечал Марусю и ее старания. Опечаленный недугом Шуры, он, не поднимая глаз, нехотя кушал яства, которыми угощала его Маруся, тихо благодарил за еду и решительно не замечал чистоту и красоту, которую так старательно наводила жена. Недолго поиграв с Женечкой, он шел к Шуре и, усевшись около нее, что-то шептал, держа Шурину руку в своей. Казалось, для этих двоих не существует никого вокруг…

Маруся не сдавалась. Отвоевать свое право на счастье она решила истинно женским способом. К предстоящему сентябрю, к дождикам и первому холоду, она раздобыла где-то три метра зеленой материи и принялась кроить платье и плащ. Расчет Маруси был прост и наивен. Увидев ее в модном комплекте, идея которого была позаимствована из свежего номера «Работницы», муж вспомнит позабытые чувства, одумается, и, предпочтя яркую внешность Маруси, откажется от простенькой Шуриной красоты.

— Куда это ты так вырядилась? — удивился Тимофей, когда впервые Маруся предстала во все красе.

— Нравится? — многозначно спросила Маруся.

— Нет. Вульгарно и броско,— ответил Тимофей и скривился в пренебрежительной усмешке. — Шура никогда не надела бы подобное.

Марусины ноги подкосились. Обессиленная, она присела на мокрую от дождя скамейку и расплакалась. Было совсем не жаль испорченную обновку, было горько за неудавшуюся жизнь. Мелкий дождик падал на землю, обрушивая мокрые бусины на тропинку, вздрагивали листья, падали в треснутой кожуре орехи, Маруся плакала, принимая жестокий удар судьбы…

Многочисленные платья Маруси вместились в три большие сумки, еще один чемодан заполнила детская одежка. Маруся надела свой новый зеленый плащ, сырой от дождя, перебросила одну из сумок через плечо, взяла на руки Женечку и направилась к выходу.

— Ты куда это на ночь глядя? — удивился Тимофей.

— Ухожу. Не буду вам мешать.

— Ребенка оставь, а сама иди, куда хочешь.

— Да как же я родного дитя оставлю?

— Оставь. Шура больше не может иметь детей, а ты нарожаешь еще,— строго сказала Тимофей, а затем, изменив тон, добавил мягче,— Марусь, ты красивая, молодая, кого-нибудь найдешь. Оставь нам ребенка, чтоб тебе помехой не был.

— Родное дите — помеха! Ты в своем уме, Тимофей?

— Тогда оставайся и не морочь голову,— строго проговорил Тимофей,— и рыпаться не смей, поняла?

Острым, гневным взглядом он впился в нее, не допуская возражений.

— Поняла? — переспросил муж, повысив тон и гнев.

Маруся поняла, кивнула и осталась.

3

Тимофея забрали на фронт, как только объявили мобилизацию. С работы сняли. На пороге дома он целовал плачущую Шуру, что-то утешающее шептал ей, Маруся ждала свой, второстепенный черед.

— Береги ее, — сказал Тимофей на прощание Марусе и быстро поцеловал в щеку.

Женечку обнял, пощекотал, пообещал вернуться и купить лошадку-качалку.

Всей улицей провожали мужиков, всей улицей голосили. Крепкая, неэмоциональная Шура зашлась рыданиями, когда Тимофей скрылся за поворотом и больше не оборачивался ей помахать. Она взвыла волком, закричала, искривилась в горестной гримасе и никогда еще такой живой и чувствующей не видела ее Маруся. Обняв младшую сестру, разделяя с ней горе, Маруся всем сердцем жалела Тимофея, жалела Шуру, жалела себя, Женечку и тоже рыдала. Вокруг них, сроднившись общей трагедией, выли все другие женщины, прося Всевышнего милости своим мужчинам, себе и детям. Ребятня, поддавшись скорбному настроению, беспомощно липла к мамам, бабушкам, плакала; женщины беспомощно заключали их в объятия.

Улица опустела. Остались одни женщины, старики да дети. Из пятидесяти мужчин, которых проводили, остались в живых лишь двое…

Проводив Тимофея, Шура с Марусей зажили мирно. Не удивительно, делить некого. Маруся устроилась работать закройщицей на фабрику, Шура — сидела с Женечкой, вела дом. Девочка обеих сестер называла мамами и охотно шла на руки к каждой.

Письма с фронта перечитывали по многу раз. Тимофей не слишком подробно писал о себе, но весточка от него была настоящим праздником для сестер. Однажды он прислал коричнево фотографию, где он и два товарища стояли в обнимку около танка, а на их гимнастерках красовались медали «За оборону Севастополя». Шура прослезилась, поставила фотографию на стол и долго-долго глядела на нее, подперев голову руками. Маруся вновь ощутила близкую, духовную, нерушимую связь сестры с Тимофеем и впервые за много времени неприятные чувства омрачили ее душу.

В противоречивых чувствах разрывалась Маруся. С одной стороны, ей хотелось, чтобы Тимофей вернулся с войны живым и невредимым; с другой — занимать унизительной второстепенное положение в его жизни и доме она больше не могла. Разрываясь в отчаянных мыслях, Маруся то гневалась на себя за грешные мысли, в которых желала смерти любимому человеку, то жалела себя несчастную, но решительно ничего не могла придумать для решения их запутанных отношений.

С фронта Тимофей вернулся без ног. Прорыв Ленинградской блокады стал для него роковым и в конце сорок четвертого на костылях, с многочисленными сединами, Тимофей обнимал своих женщин, радуясь встрече и скорой окончательной победе над фашистами.

Когда волнение стихло и обычные будни закрутились своим чередом, Маруся засобиралась. В отношениях Шуры и Тимофея ничего не изменилось, это было очевидным, а с положение бывшей возлюбленной Маруся мириться не хотела.

— Я ухожу, — объявила Маруся Тимофею.

— Куда? — поинтересовался тот.

— К Вере Павловне…

— Кто такая Вера Павловна?

— Коллега…

— Ну иди. Женю оставь…

— Как же я могу родное дитя…

— Маруся, мы уже говорили об этом. Или остаешься с ребенком или уходишь, но одна, — так же твердо сказал Тимофей, как и четыре года назад.

Ничего не изменилось, это было очевидным…

Маруся приняла трудное решение. Собравшись с силами, она сказала, что уходит…

Вера Павловна, коллега Маруси на фабрике, в войну потеряла трех сыновей, мужа и дочь — военную медсестру. Похоронки приходили одна за другой, к началу сорок второго стало известно, что из близких родственников у нее никого не осталось. Тоскуя в большом доме, когда-то полном и тесном, Вера Павловна оплакивала близких, просила Бога забрать ее к себе, и в отличие от многих, не радовалась Великой Победе, которая означала для нее полное одиночество. Маруся знала про горести Веры Павловны, сочувствовала ей, то слово доброе обращая, то рюмочку за упокой близких поднимая, а когда жизнь с сестрой и мужем стала невыносимой, попросилась к ней на постой.

— Маруся, дорогая, приходи, живи, сколько хочешь! Я одна с ума схожу! Если бы не работа, не знала бы, куда деваться! А вместе нам легче будет. Приходи!

Маруся переехала. Вера Павловна уступила ей комнату дочери. Развешивая в шкаф многочисленные платья, Маруся обнаружила, что больше не интересуется красивыми вещами, а добрую часть платьев не надевала уже несколько лет.

«Странно, — подумала Маруся, — я же так любила наряды»

Маруся закрыла дверцу шкафа, обратила взгляд на свое отражение и с удивлением обнаружила, что больше не красавица. Она уставшая, истощенная женщина средних лет с темными кругами под глазами и частой сединой. Молодость ушла, кратковременное счастье обернулось пустотой, а единственно важное событие в жизни — рождение Женечки.

Маруся поняла, что это конец. Рассчитывать больше не на что. Она, как и Вера Павловна, остаток жизни будет ходить на работу, что-то несложное готовить, по воскресеньям стирать немногочисленные вещи, словом, жить, повинуясь автоматическому устройству быта.

«Таков, вероятно, мой удел», — подумала Маруся, и впервые за много времени не захотелось плакать.

Впервые не было жаль себя. Ясно и отчетливо она осознавала свои перспективы, смирилась с ними, почувствовала счастье от обретенной определенности и спокойствия…

4

На восьмом десятке деда Тимофея парализовало. Он долго лежал, а услужливая баба Шура тихо крутилась около него. Женечка, окончив институт, уехала по распределению работать на Север, вышла замуж, родила Таню. На летних каникулах Таня гостила у своих бабушек и дедушки, задавая им жару неукротимой энергией и непослушанием.

Баба Маня, следуя старой традиции, каждый день приходила в дом мужа в четыре часа, ужинала, помогала мыть Тимофея, перестилала ему постель, стирала вещи и уходила. Отрешенное выражение лица, нервозные, быстрые движения, бурные вспышки гнева или радости теперь характеризовали ее, а странная особенность с апреля по ноябрь ходить в зеленом плаще многих смешила.

Я хорошо помню бабу Маню. Ежедневный ее путь к сестре и мужу проходил мимо нашего дома и, сильно размахивая правой рукой как солдат на параде, она торопилась по своим делам, отрывисто здороваясь с соседями.

— Такая смешная баба Маня! — сказала я бабушке как-то.

— Много лет назад у нее случилось помешательство, — объяснила мне бабушка, — но это не повод для смеха.

Это был один из ценных уроков милосердия, которые преподнесла мне бабушка.

Деда Тимофея я тоже хорошо помню. В канун Девятого мая, по школьному поручению, я и несколько моих одноклассниц навещали ветеранов, живущих неподалеку. Дед Тимофей был в их числе. Много и громко он рассказывал о войне, сопровождая повествование эмоциональными оборотами, отчего становилось то страшно, то грустно, то неловко, а баба Маня, непрерывно хлопотала около него, то поправляя подушку, то давая попить. К концу рассказа она вносила небольшой ящичек с красной обивкой внутри, торжественно открывала его и показывала многочисленные медали деда Тимофея.

Сейчас я думаю, что пристальное внимание и суетливость с ее стороны выражали гордость за доблесть мужа. Бабе Мане было приятно, что школьники чтят деда Тимофея, помнят его славные дела, приходят к нему, и, греясь в лучах мужниной славы, была счастлива.

А вот бабу Шуру я помню плохо. Она никогда не выходила из кухни, когда в их дом кто-то приходил.

На летних каникулах приезжала Танька, и дни напролет мы бегали с ней в бесконечных играх, заходя домой лишь на обед и ночлег. С Танькой было интересно. Она придумывала множество активных игр, неустанно сочиняла страшные истории, в которые якобы попадала, а я невольно завидовала насыщенности и загадочности ее жизни. Осенью мы неохотно расставались и с нетерпением ожидали лета, чтобы встретиться и вновь бегать, прыгать, веселиться.

К пятнадцати годам, когда нас стали интересовать мальчики, мы с Танькой умылись, приоделись, перестали лазить по заборам и сдирать с разбитых коленок коричневые корки, вытащили занозы, вылечили руки от цыпок, случавшихся от бесконечной возни в холодной воде, и, очевидно, похорошели. Окрепли и наши душевные качества, которые, в отличие от порезов и ссадин, вылечить было невозможно.

— Таня, где тебя черти носили? — кричала баба Маня, всплескивая руками и топая ногами, когда моя подруга Танька возвращалась домой под утро, — Я переживаю! Домой не иду, тебя жду!

— Заткнись, дура ненормальная, — отвечала ей Танька, — Где хочу, там и хожу.

Меня удивляла заносчивость и грубость Таньки. В моей семье было не принято оскорблять старших, но Танька, вероятно, не догадывалась об уважении.

— Опять курила? — ругалась баба Маня. Она обнюхивала Таньку и очень походила на бабу Ягу из сказки, учуявшую человеческий дух.

— Твое какое дело? — огрызалась внучка, — Отвяжись…

— Таня, тебе хорошо с такой прической, — радовалась баба Маня, хлопая в ладоши.

— Отвянь! Сама знаю…

…

…

— Не люблю ее, ненавижу! — говорила мне Танька, заканчивая интереснейшую историю их семьи, — Мы все ее не любим! А она все ходит и ходит. Осталась бы у себя, да не мешала. Заколебала всех! Мама говорит, скорее бы Господь прибрал! Орет все, а бабушка Шура меня никогда не ругает, — разгорячилась подруга.

Немного остыв, добавила:

— Это большой секрет, что ненормальная баба Маня родила мою маму. Мы скрываем от всех. Никому не говори.

Я пообещала, но непреодолимая жалость к бабе Мане внезапно заполнила меня. Так больно стало за эту несчастную женщину, которая столько жестоких ударов получила от близких.

Я особенно ясно представила себе, как впервые она надела свой зеленый плащ, быстрым движением надушилась, повязала косынку в цвет, и, посмотревшись в бездонное трюмо, отправилась завоевывать сердце мужа. Я чувствовала ее горькие слезы разочарования и потери, которые невозможно выплакать, и было трудно представить, что никто из родных не нашел в себе капли сострадания, чтобы обнять ее, понять, пожалеть…

Внезапную занозу ненависти я почувствовала к деду Тимофею, который, как петух в курятнике, выбирал, кого любить, не заботясь ни совершеннолетием избранницы, ни семейными узами, ни чужими чувствами. И кроткая баба Шура, молчаливая, угодливая, стала мне противна! В своей тихой услужливости она без зазрения совести способна нанести сокрушительный удар в спину.

Но особенно сильно была мне противна Танька и ее мать. Желать смерти родному человеку — это уже слишком!

«Что же вы за люди такие? Как же так можно?» — внутренне возмущалась я.

Загадочным словом «деменция» Танька нарекла психическое состояние бабы Мани, упорно не замечая, что именно близкие родственники приложила все усилия, чтобы свести бабу Маню с ума. Жить в вечной ненависти и трезвом уме невозможно, правда?

До омерзения мне стала противна вся их семья, измывающаяся над несчастной бабой Маней, и захотелось побыстрее вырваться из той грязи, куда меня завело любопытство. Не утруждаясь объяснениями, я поднялась и ушла. Танька недоуменно кричала вслед:

— Ты куда?

— Мне домой срочно надо, — соврала я и больше никогда не звонила подруге и не приходила.

Люди не понимают слов. Люди понимают чувства. Конечно же, Танька поняла причину моей отчужденности и, тяготясь неловкостью откровений, больше никогда, подобно мне, не давала о себе знать. Удивительно, но, не сказав ни слова, мы поняли друг друга и одним днем закончили крепкую дружбу, связывающую нас все детство.

То лето было последним в нашей школьной жизни. Танька навсегда уехала и я не знаю, как сложилась ее судьба. Мне бы хотелось узнать, как она. А еще хотелось бы, чтобы Танькина жестокость была наказана. Порой мучит жажда справедливости…

Дед Тимофей вскорости умер, вслед за ним, не дожив до сорока дней, ушла баба Маня, а вот бабе Шуре выпала честь пережить сестру и мужа на добрых десять лет.

Саша ЛИБУРКИН

ПАЛОМНИКИ

(рассказ)

— Вот что я вам скажу, Александр Григорьевич,— весело улыбаясь, воскликнул мой начальник, когда я вошел в его кабинет, — православие на Руси возрождается! И это здорово! Русский человек без Бога не может — не должен жить! Садитесь, — предложил он, крепко стиснув мою ладонь.

— Спасибо, Георгий Николаевич! Простите, но я не понял… это возрождение имеет какое-то отношение к нашей работе? — спросил я.

— Конечно, Александр Григорьевич! И самое прямое! Вы в курсе, что в последнее время к нам поступило множество заявок от ветеранских организаций, да и от простых жителей нашего округа на поездки по святым местам — монастырям, скитам, могилам праведников?

— Я знаю, такие заявки есть, но ведь у нас утвержденная программа! — возразил я, — а как же запланированные экскурсии в Павловск и Ломоносов?

— Послушайте, Александр Григорьевич,— мягко сказал Георгий Николаевич, — вы рассуждаете как советский бюрократ, а ведь мы должны идти навстречу духовным запросам граждан! Это проблема легко решается, будете ездить не один, а два раза в неделю. Вы когда-нибудь были в монастыре? В девичьем монастыре? — уточнил он.

— Нет, не приходилось.

Георгий Николаевич взял ручку и подошел к висевшей на стене карте.

— На следующей неделе отправитесь с нашими паломниками вот сюда,— он указал точку на карте,— в энский девичий монастырь, это примерно два с половиной часа езды от города. Водитель у нас опытный, я с ним говорил, дорогу он знает. Помолитесь, поставите свечки, наберете святой воды, пообедаете и вернетесь. Ах, Александр Григорьевич! — сказал он вдруг, устало вздохнув, — как я вам завидую! Я в прошлом году ездил туда… Если бы вы знали, какая в этом монастыре благодать! Какие цветники разбиты, как все хорошо устроено! И все благодаря стараниям игуменьи, матушки Агафьи… А недавно монастырь обрел частицу мощей Николая Угодника, а ведь Николай Угодник у нас на Руси главный святой! Русскому человеку в трудную минуту достаточно сказать: «Святой Николай, выручай!» — и все чудесным образом устраивается!

— Мне нужен телефон, — прервал я его.

— Что?

— Телефон матушки…

— Ах, да! Он есть у секретаря. Позвоните, договоритесь об обеде и экскурсии, сЕстры много не возьмут. Александр Григорьевич, можно вам задать один вопрос?

— Пожалуйста, задавайте, — пожал я плечами.

— Это вопрос личный…

— Ничего, ничего…

— Вы сами человек крещеный? — осторожно спросил Георгий Николаевич. — Насколько мне известно, дочь у вас — православная.

— Дочь — православная, а я — нет, не крещеный.

— Слушайте, Александр Григорьевич,— вдруг оживился мой шеф,— приходите в воскресенье в нашу церковь, вы ведь знаете где она?

— Знаю.

— Непременно приходите! Я вас познакомлю с нашим батюшкой, отцом Иоанном. Вы даже представить себе не можете, какой он умный, тонкий — интеллигентный человек! Мы вас там быстренько и покрестим! — радостно предложил он.

— Я… я… не могу…

— Отчего же? — с участием спросил Георгий Николаевич.

— Я… агностик!

— Ах, агн-о-о-остик, — разочарованно протянул шеф.

— Да, — уже решительно подтвердил я, — агностик!

— Ну, что же… — задумчиво сказал Георгий Николаевич, взглянув на портреты Путина и Медведева, которые висели рядышком на противоположной стене, — Россия — государство светское, агностик, так агностик, свобода совести у нас гарантирована конституцией! Идите, Александр Григорьевич, работайте! — сухо закончил он. — Готовьте поездку!

Через неделю, солнечным июньским утром, простояв минут тридцать в городских пробках, мы выехали на трассу, ведущую на северо-запад. Я сидел в кабине, рядом с водителем, а за моей спиной, в салоне нашего небольшого автобуса, в удобных креслах расположились паломники, девять женщин и трое мужчин. Это были люди пожилые, члены различных ветеранских организаций. Примерно через час, как мы и договаривались, я позвонил настоятельнице:

— Здравствуйте матушка Агафья, — сказал я, — мы, наверное, к двенадцати будем у вас. Нас встретят?

— Конечно! — ответила она. — Как войдете в монастырь, увидите храм. Я вас возле него буду ждать. Кстати, Александр Григорьевич, а вы работу с паломниками провели?

— Какую работу? — удивился я.

— Вы должны сказать своим людям, что это не простая прогулка, — терпеливо объяснила матушка, — а паломничество в монастырь, а на монастырь нужно жертвовать!

— Хорошо, хорошо, матушка, как скажете.

— Товарищи, — громко сказал я, обращаясь к паломникам, — мы едем в монастырь!

— Знаем! — нестройным хором ответили паломники.

— А в монастыре, — продолжал я, — бедные сЕстры днем и ночью молятся за нас, за грехи наши, так не будьте же скупыми, когда приедете туда… Конечно, кто сколько может. Помните, дающая рука не оскудеет!

— Не волнуйтесь, Александр Григорьевич, — сказала суровая старуха с большой бородавкой на правой щеке, — и свечечки поставим, и записочки напишем, да и так в ящик опустим. Я вон канистру с собой десятилитровую взяла, вода у них в колодце очень вкусная говорят. Со всей округи за водой приезжают! Вот как ее потом, на обратном пути до дома донести… Тяжело будет!

— Не беспокойтесь, Анна Михайловна, — сказал водитель, — я на обратном пути как раз мимо вашего дома проезжать буду, остановлю!

— Спасибо тебе, Андрей Сергеевич, хороший ты человек!

— Слушай, Сергеич, как ты думаешь, — спросил я, — к двенадцати будем?

— Если пробок не будет, приедем даже чуть раньше.

— А откуда ты знаешь дорогу?

— Я в те места на рыбалку ездил, — ответил он.

— В монастырь заходил?

— Нет. А что там делать? — пожал плечами Андрей Сергеевич.

Я открыл шире окно и откинулся на спинку кресла. От свежего воздуха голова у меня немного закружилась.

«Интересно, какие они — монахини? — думал я, волнуясь. — А вдруг среди них есть молодые и красивые? Не одни же дурнушки уходят в монастырь! Скорей, скорей бы мы уже приехали, и я все сам увижу!».

Меня потянуло в сон, я повернулся на правый бок и уснул.

— Александр Григорьевич! Александр Григорьевич! — вдруг услышал я. — Просыпайтесь!

Кто-то толкнул меня в плечо.

— Сергеич, что? Приехали?

— Нет еще, но купол храма уже виден. Минут через семь будем на месте.

— Андрей Сергеевич, у тебя вода есть? Хочу чуть лицо освежить. Вид у меня, наверно, заспанный.

— Вот, возьмите.

Водитель протянул мне бутылку.

Я смочил носовой платок и протер им лоб и щеки.

— Ну, что, Сергеич, как я выгляжу?

— Нормально, — усмехнулся он, — для монахинь сгодитесь!

— Ты пойдешь с нами? Сестры обещали обед!

— Нет, не хочу, у меня с собой бутерброды и кофе. Я вас здесь подожду, — ответил он, останавливая автобус у распахнутых монастырских ворот.

Я вышел из кабины и открыл дверь салона.

— Все, товарищи, приехали! — объявил я.

Паломники, жмурясь от яркого полуденного солнца, по одному выходили из автобуса. Оказавшись на улице, они суетливо и благоговейно крестились, а некоторые еще и кланялись. Я достал сигареты и закурил.

— Что же вы, Александр Григорьевич, за всю дорогу ни разу остановки не сделали? — укоризненно сказала мне одна паломница. — Мы люди немолодые, нам в туалет нужно!

— Валентина Ивановна, простите, — виновато ответил я, — но ведь никто не просил.

— А вы бы и сами могли догадаться, — сердито сказала она. — Мужчины, хватит курить! Александр Григорьевич, давайте пойдем!

Я выбросил окурок, и мы вошли в монастырь. Он со всех сторон был окружен высокой стеной, сложенной из красного кирпича. Прямо перед нами, метрах в сорока, стояла красивая, белая церковь, вокруг нее росли розы и лилии. Слева от входа мы увидели маленькую бревенчатую часовню, за ней — трехэтажный каменный дом, почти доверху увитый диким виноградом. Между домом и внешней стеной монастыря был курятник, а дальше, за курятником, высилась небольшая, выкрашенная в синий цвет, голубятня.

— Товарищи, видите указатель? Кому нужно, идите по дорожке направо, туалет там. И не забудьте, у нас сейчас будет экскурсия, — сказал я и быстро зашагал к церкви, возле которой стояла среднего роста очень полная женщина в черной одежде с массивным золотым крестом на груди.

— Простите, вы матушка Агафья? — спросил я.

— Да, это я, — приветливо улыбаясь, ответила матушка, — а вы Александр Григорьевич? Здравствуйте! Как доехали?

— Слава Богу, без приключений.

— Александр Григорьевич, что же вы нам так мало паломников привезли? Всего двенадцать человек! — вздохнула она.

— У нас автобус маленький, в следующий раз мы закажем большой, на пятьдесят мест. Матушка, скажите, а кто эти девушки на клумбе? — с любопытством спросил я. — Послушницы?

— Нет, что вы? Это трудницы… работают у нас летом, — снисходительно объяснила игуменья.

— Сколько у вас роз! — вырвалось у меня. — И какие все красивые!

— Розы у нас, Александр Григорьевич, — с гордостью сказала матушка, — аж до первых заморозков цветут. Ими занимается сестра Феона, она и экскурсию для вас проведет. Мы как раз ее и ждем!

Вдруг лицо игуменьи побагровело, а глаза с ненавистью уставились на паломницу, стоявшую в нескольких метрах от нас с небольшим фотоаппаратом в руках.

— Что вы делаете? Уберите, уберите это сейчас же! — закричала она. — Меня нельзя фотографировать!

— Простите, я не вас, я церковь хотела... и цветы... разве нельзя? — растерянно пролепетала паломница.

— Вы не церковь, вы меня фотографируете, — не успокаивалась монахиня, — а меня фотографировать нельзя, я духовное лицо!

— Я не вас... я церковь...

— Церковь? Не врите! Я же все видела! Вы меня снимали!

Настоятельница выхватила из кармана телефон и наставила его на паломницу.

— А если я вас тоже вот так, вот так! — в ярости кричала она. — Вам будет приятно?

— Да что вы на меня кричите, — разозлилась женщина, — подумаешь, крест нацепила! Если хотите знать, у меня у самой троюродный брат архимандрит, настоятель Никольского собора!

Паломница обиженно отвернулась и пошла к цветнику.

— Матушка Агафья, — сказал я тихо, — а может, она и в самом деле церковь фотографировала?

— Ох, Александр Григорьевич, извините меня, тут недавно приезжал один, — с горечью рассказала игуменья, — все ходил, фотографировал, а потом написал в своем «Комсомольце»... Бог знает что! А вот и сестра Феона.

К нам подошла молодая монашенка. Ее лицо было загорелым, руки испачканы в земле.

— Сестра Феона, — сказала матушка, — это Александр Григорьевич, он привез паломников.

— Здравствуйте, — вежливо улыбнулась мне сестра Феона. — Матушка, — обратилась она к игуменье, — я сейчас буду говорить экскурсию. Благословите!

— «Как она держит спину! — с восхищением подумал я. — У нее, наверное, стройные ноги».

— Бог благословит, — ответила игуменья. — Александр Григорьевич, зовите паломников. Видите синий шатер у стены? Там у вас будет трапеза.

— Тот, на котором написано «Балтика»?

— Он самый. Подарок спонсоров, — усмехнулась матушка. — Прослушаете экскурсию, помолитесь, наберете воды в колодце — она у нас замечательная! И приходите на обед. Стол будет накрыт. Сестра, я вам через час позвоню. Александр Григорьевич, я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся!

Монахиня быстро направилась к дому. Из кустов ей навстречу выбежал большой рыжий кот и стал тереться об ноги. Она наклонилась и погладила его.

— Товарищи! — крикнул я. — Ждем вас у церкви, экскурсия начинается!

Паломники стали постепенно собираться возле нас, с любопытством разглядывая сестру Феону, а я подумал:

«Что привело эту девушку в монастырь? Неужели она пришла сюда по вере и убеждению? В наше время! Нет, не может быть. Такая красивая! Наверное, ее бросил какой-то мужчина, и она, разочаровавшись в любви, стала монахиней».

— Сестра Феона, — спросил я негромко, — скажите, а у вас в монастыре строгий устав? Вы утром рано встаете?

Монахиня опустила глаза.

— Я не могу ответить на ваш вопрос.

— Почему?

— Матушка не благословляет.

— А этот храм? Он действующий? Мы осмотрим его?

— Нет, туда нельзя пока заходить, — с сожалением ответила монахиня, — он принадлежит государству. Там сохранились старинные, тринадцатого века, фрески, их сейчас реставрируют. Наша монастырская церковь дальше, за ручьем. А в этом храме богослужение проходит только раз в год. Александр Григорьевич, все паломники подошли?

— Да, можно начинать. Товарищи, это сестра Феона, — представил я монахиню, — она проведет экскурсию и ответит на ваши вопросы.

Сестра Феона рассказала нам об истории монастыря, который, оказывается, был очень древним и много интересного об архитектуре храма. Обойдя его, у задней стены, мы увидели несколько рядов разбитых могильных плит и памятников.

— Это все, что осталось от монастырского кладбища, — объяснила нам сестра Феона, — в шестидесятые годы его уничтожили бульдозером до основания. На кладбище были похоронены не только монахини, на нем покоились жены декабристов, генералы, купцы. Советские историки очень хотели увидеть, как выглядел храм в средние века, кладбище мешало, поэтому его и срыли. Когда монахини вернулись сюда, они стали находить эти обломки в земле по всей территории и даже за стенами обители. Полностью уцелело только одно надгробие самой известной нашей настоятельницы — матушки Анастасии. Вот оно.

Она показала нам плиту, на которой было написано только два слова: «Монахиня Анастасия» и годы жизни.

— Матушка Анастасия была великой подвижницей и молитвенницей, — продолжила свой рассказ сестра Феона, — она умерла почти в девяносто лет, ее должны были канонизировать, но революция помешала. Матушка много сделала для монастыря. При ней были построены первые каменные здания, колокольня, которую снесли в советское время, а насельниц было больше двухсот.

— А сколько сейчас монашек в монастыре? — спросил Владимир Павлович, высокий седой отставник.

— Монашки — это бранное слово, — строго ответила сестра Феона, — надо говорить — монахини. Без благословения матушки я не могу точно ответить на ваш вопрос, скажу так — не больше десяти. А сейчас я хочу вам рассказать несколько чудесных историй, которые произошли с матушкой Анастасией. Когда матушка Анастасия решила строить колокольню, денег у нее не было, она долго — долго думала, где бы их достать, много молилась, и вот однажды, во сне, к ней явилась Богородица и сказала: «Будет тебе, Анастасия, по желанию твоему!», а на следующее утро приехала одна помещица и привезла деньги, тридцать тысяч рублей. А еще с ней было такое. Дала матушка Анастасия обет: одной вознести на гору крест, крест дубовый, тяжелый и установить его на вершине. Было ей тогда восемьдесят два года. Она совершила этот подвиг, вознесла крест, а когда возвращалась обратно, силы оставили ее, матушка Анастасия упала в снег и сломала руку. Она лежала на снегу, помощи ей ждать было неоткуда, и матушка Анастасия стала молиться, вдруг явились к ней три святых старца и сказали: «Не бойся, Анастасия, мы будем молиться вместе с тобой». Они возносили Богу молитвы всю ночь, наутро же старцы исчезли, а когда матушку нашли крестьяне, они увидели чудо: снег вокруг того места, где она лежала, от силы их молитв растаял, земля была теплой и сухой, а рука ее чудесным образом зажила.

«Это же какая-то сказка, — думал я, — такого не может быть, чтобы сломанная рука зажила за одну ночь».

Сестра Феона повела нас дальше. Она показала нам колодец, восстановленный точь-в-точь по фотографиям начала прошлого века, несколько очень старых лип, посаженных лично одной царицей, жившей в опале, в монастыре, и еще пять или шесть зданий — одни из них были уже восстановлены, другие еще нуждались в реставрации.

Мы перешли по мосту через ручей, и оказались в другой части обители, возле небольшого храма, сложенного из красного кирпича.

— Это наша монастырская церковь, — сказала сестра Феона, перекрестившись, — она построена в девятнадцатом веке, за ней находится наш сад и огород. Здесь моя экскурсия заканчивается. А теперь идите в церковь и молитесь, а после приходите в трапезную.

Когда все паломники вошли в храм, я достал бумажник и вытащил из него несколько купюр.

Сестра, — сказал я, — спасибо вам за вашу экскурсию, нам было очень интересно слушать вас, скажите, сколько я вам должен?

— Нам деньги в руки брать нельзя, — ответила сестра Феона, — в церкви есть ящик для пожертвований, положите в него столько, сколько считаете нужным.

Я поднялся на крыльцо, открыл дверь и вошел в полутемное помещение. Это была церковная лавка. У стола, за которым сидела невысокого роста старушка в черном платке и в черном платье, скопилась небольшая очередь. Первым в ней стоял высокий отставник, Владимир Павлович.

— Мне нужен оберег, — неуверенно сказал он.

— У нас нет оберегов, — ответила старушка. — Обереги у язычников. Говорите точнее, что вам нужно.

— Ну, такая икона, — смутился Владимир Павлович, — Христос с крылышками. Жена просила купить. Хочет повесить его над входной дверью. Говорят, от воров помогает!

— Вам нужен Спас, — сообразила монахиня, — есть большой, ручной работы, он стоит пятьсот рублей, а вот маленькие — за двести.

— Давайте за пятьсот, — махнул рукой отставник.

Я прошел дальше, в церковный зал, отыскал ящик для пожертвований и вложил в него несколько крупных купюр, потом я с любопытством поглядел на иконы и красивые ларцы с мощами святых, и минут через пять вышел на улицу.

У крыльца стояла сестра Феона, а рядом с ней одна из моих паломниц.

— Вы даже представить себе не можете, сестра, — жаловалась она, — как болит у меня рука! У каких только докторов я не была, какие только лекарства не принимала — ничего не помогает! А если святой водой полечить?

— Конечно, надо попробовать! — ответила монахиня, — святая вода помогает, только нужно все делать правильно! Я вам сейчас расскажу. Когда вы будете мазать больное место святой водой, ну, чем обычно это делают, марлей или ватой, нужно наносить святую воду в виде креста, и при этом говорить правильную молитву.

— А где же я возьму эту молитву? — расстроилась паломница.

— А я вам дам, у меня с собой есть, — обрадовала ее сестра Феона, — вот, возьмите… Она протянула паломнице небольшой лист.

— И вы думаете, поможет?

— Если с чистым сердцем и правильной молитвой, — убежденно ответила сестра Феона, — непременно поможет!

— Огромное спасибо, сестра! Пойду в церковь, еще помолюсь и свечек поставлю.

Когда паломница скрылась за дверью храма, я подошел к монахине.

— Сестра Феона, прошу вас, — сказал я, — покажите мне монастырский сад.

— Мы туда паломников не водим, — строго ответила монахиня. — Да там и смотреть особенно нечего!

— А мне интересно. Я ведь никогда не был в монастыре! Только на одну минуту, сестра Феона!

— Ну, хорошо, — смягчилась она, — пять минут — не больше.

Мы обошли церковь, и через открытую калитку вошли в сад.

— Весной, когда эти деревья цветут, здесь очень красиво, — сказала сестра Феона.

— Слушайте, сестра, а это что у вас растет? — спросил я удивленно, — неужели черешня? В этих краях?

— Вы угадали, — улыбнулась она, — черешня!

— И что же — вызревает?

— Приезжайте в августе, сами увидите.

— А та дверь в стене? Куда она ведет?

— Это выход к реке, там есть небольшая пристань. Матушка Агафья любит иногда половить рыбу с пристани.

— Матушка любит рыбалку? — снова удивился я.

— А что вас так удивляет? Это не запрещено.

— Сестра Феона, а что любите вы? — спросил я.

— Я? Я очень люблю цветы, розы…

— Скажите, сестра, — спросил я, не сводя с нее глаз, — вы такая молодая, стройная и красивая… неужели вы никогда, ничуть не жалеете о том, что навсегда останетесь… Христовой невестой!

— Вы не понимаете… я инокиня… мне нельзя слушать ваши слова. Но я вам отвечу, хотя это личный вопрос. Нет, Александр Григорьевич, — твердо сказала монахиня, — никогда, ни капельки не жалею! И прошу вас, больше не задавать мне подобных вопросов. Иначе я пойду к матушке, расскажу ей все и откажусь проводить экскурсии с вашими паломниками!

— Простите меня!

Зазвонил телефон.

— Да, матушка, — ответила монахиня, — уже иду. Благословите, матушка!

— Мне пора, до свиданья, Александр Григорьевич!

— Сестра Феона, — крикнул я ей вслед, — я вас сегодня еще увижу? Вы придете в трапезную?

— Нет. О вас позаботится сестра Антония.

Я дождался, пока она скроется из глаз, и поплелся в трапезную. На душе у меня было неспокойно.

«Зачем я задал ей этот вопрос? И что означает — инокиня? — думал я. — Нет, сейчас не вспомнить. А ведь знал в институте!».

Я снова перешел через ручей, остановился у колодца и напился воды, которая и в самом деле была очень вкусной. У входа в шатер, меня уже поджидала монахиня Антония.

— Вы Александр Григорьевич? Идите, мойте руки, я вам водицы свежей в рукомойник налила, а вот вам еще чистое полотенце.

— А вы, наверное, сестра Антония?

— Да, это я. Все уже пришли, ждем только вас.

Я быстро вымыл руки и вошел в трапезную. Паломники сидели все вместе, за одним длинным столом. Я сел рядом с Владимиром Павловичем. Мы уже разложили по тарелкам салат и взялись за вилки, но тут сестра нас остановила:

— Подождите. Перед трапезой положено прочитать молитву. Мужчины, кто из вас знает «Отче наш»?

Все промолчали.

— Никто не знает? А женщины?

— Хорошо, — вздохнула она, — тогда я ее прочитаю.

Монахиня прочитала короткую молитву, и мы принялись за еду. После морковного салата на первое принесли рыбный суп.

— Очень вкусно, — задумчиво сказала Анна Михайловна, — а ведь суп из консервов, как эти монахини его готовят?

— Кому нужно добавки — подходите, не стесняйтесь, я вам еще насыплю, — уговаривала нас сестра Антонина.

На второе была гречневая каша с грибами.

— Я всю жизнь гречку готовлю, — в сердцах сказала Валентина Ивановна, — у меня в семье все ее любят, но так вкусно она у меня никогда не получалась!

— Наверное, монахини знают какой-то секрет, — сказал ей Владимир Павлович, — я, пожалуй, возьму еще тарелку!

А на третье принесли холодный компот из сухофруктов, который тоже всем очень понравился.

— Спасибо, сестра Антония, все было очень хорошо, — сказал я монахине. — Вот деньги, пересчитайте!

— Зачем? Вы же их считали. Положите вот сюда.

Она достала из-под прилавка небольшой деревянный ларец.

— Приезжайте к нам, Александр Григорьевич, — сказала она на прощанье, — привозите еще паломников, только заранее обязательно звоните!

— Товарищи, у вас есть еще полчаса, — объявил я, — только полчаса — не больше. А потом подходите к автобусу.

Я вышел из трапезной и направился к цветнику.

«Как хорошо здесь... красиво и тихо... — думал я, гуляя возле церкви, среди роз и лилий, — в город совсем не хочется возвращаться... вечером опять в «Вену», на поэтическую тусовку, снова слушать стихи, пить водку и спорить, обсуждая кандидатов на литературные премии. Трезвый Мякишев будет ходить вокруг и всех фотографировать». Я вспомнил, как мы недавно с ним встретились на Невском, и решили зайти в Дом Актера выпить кофе. Мы поднялись на второй этаж и остановились у старинного зеркала.

— Посмотри на себя, Либуркин, — сказал Мякишев, — посмотри на себя критически! Ты растолстел, обрюзг, походка у тебя — шаркающая, тебе минимум килограмм пятнадцать нужно скинуть. А еще о Любе Лебедевой мечтаешь...

Женя молодцевато приосанился, расправил плечи и гордо похлопал себя по животу.

— А теперь взгляни на меня. Ты видишь? Ни капли жира. Ни капли! За последнее время я три сборника издал, и не где-нибудь — в «Лимбусе»!

Поэт посмотрел на меня торжествующе, а потом дружески обнял за плечи и ласково сказал:

— Слушай, Либуркин, ты же знаешь, я желаю тебе только добра! Брось пить, займись спортом — садись, как я, на велосипед — и ты увидишь, и успех, и Любочка к тебе обязательно придут!

«Эх, Женя, милый друг, — с горечью подумал я, — разве только в этом дело! Кажется все у меня... не так!». Я склонился к розе, вдохнул ее аромат, и вдруг отчетливо вспомнил, как уезжал из Молдавии двадцать три года назад. Какой прекрасной казалась мне моя будущая жизнь в Ленинграде! Как я мечтал, что не пропущу ни одной театральной премьеры, буду часто ходить на концерты в Капеллу и в Консерваторию, запишусь на курсы английского и буду слушать лекции на Литейном, в знаменитом Лектории, а по субботам и воскресеньям я уже с утра — в Эрмитаже или в Русском музее.

«А что же в итоге... — размышлял я, — в театр ты не ходишь, английский — не выучил, где консерватория — так до сих пор и не знаешь, а в Эрмитаже ты уже не был лет пять. А теперь вспомни, Саша, как ты провел последние выходные. В пятницу ты получил на работе зарплату и премию. Ты ведь мог пойти в «Порядок слов», купить свежий номер «НЛО» и умные — интересные — книги,

зайти в театральную кассу и взять абонемент на концерты в Филармонию. Ты мог бы позвонить какой-нибудь культурной, интеллигентной девушке, и пригласить ее на выставку в Эрмитаж или на премьеру в Дом Кино. А вместо этого… вместо этого ты весь вечер пил водку с двумя безумными поэтами, Шабановым и Бутько, и вдруг очнулся в какой-то незнакомой комнате, в постели с незнакомой чернокожей девушкой, и она рассказала, что приехала из Ганы, и зовут ее — Лиза. Вспомни, ты еще целовал ей руки, признавался в любви и называл… Любочкой… Боже, как стыдно! Как все пошло и низко… дальше падать — некуда!».

Я поднял глаза к небу и увидел на его синем фоне сияющий золотой крест.

«Нет, нет — еще не все потеряно! — понял я. — Решено. Вернусь в Петербург и приму крещение. А что? Сейчас многие евреи крестятся. Не бойся, Саша, ничего страшного в этом нет! Крещусь и начну новую жизнь. Уйду в монастырь. Вот что спасет, вот что возвысит мою душу — молитва, послушание и труд!» Я тут же представил себе, как однажды утром я проснусь в своей теплой, уютной келье, распахну окно — а за ним большая русская река, звездочки сияют на темном небе, остро пахнет увядшими листьями. Умоюсь и на службу в церковь. До обеда я буду смиренно чистить картошку на кухне или колоть дрова, все равно я больше ничего не умею, а после вкусного обеда также смиренно буду подметать листья в монастырском саду. И тут мимо будет проходить какой-то мужчина, он остановится рядом и скажет:

— Бог помощь, святой отец!

— Спаси Бог! — с поклоном отвечу я.

— Вот, — скажет он, — пришел помолиться в ваш монастырь.

— У вас что-то случилось, — скажу я, пристально вглядываясь в его потерянное лицо.

— Да… случилось, — глухо ответит он, пораженный моей прозорливостью. — Беда у меня. Я алкоголик и гомосексуалист!

— Только не нужно отчаиваться! — воскликну я. — Идите в церковь! Идите! Найдите там икону «Неупиваемая чаша», станьте перед ней на колени и молитесь!

— Вы думаете, поможет?

— Если с чистым сердцем и правильной молитвой — непременно поможет! — убежденно отвечу я.

А после вечерней службы я вернусь к себе. Почитаю на ночь что-нибудь из отцов церкви или Апокалипсиса, еще раз помолюсь перед любимой иконой, и, с чистой совестью, чувствуя приятную усталость во всем теле, спокойно усну. И мне перестанут сниться юные прекрасные поэтессы — и Саша Цибуля, и Галя Рымбу, и даже Любочка Лебедева, а будет сниться одна только пресвятая Богородица, и еще, может быть, Христос.

Мне стало грустно.

— Александр Григорьевич! — услышал я и оглянулся.

Ко мне быстро подходила матушка Агафья.

— Слава Богу! А я искала вас, думала, что вы уже уехали. Ну, как вам понравилась наша обитель? — спросила она, вытирая платком капли пота, выступившие на ее загорелом лбу.

— Очень понравилась! — искренне ответил я. — Здесь действительно какая-то… благодать. А сестра Феона — совершенно замечательная, и очень интересно обо всем рассказывает.

— Сестры у нас красивые, — почти кокетливо улыбнулась монахиня.

— Ах, матушка, сколько же вам пришлось здесь восстанавливать! — сочувственно сказал я.

— Александр Григорьевич, а сколько еще предстоит сделать! Сейчас тяжело — кризис! Средств не хватает…

— Что же, матушка, — спросил я с недоумением, — свечек, что ли, не покупают или записочек не оставляют?

— И свечки покупают, и записочки оставляют, да не столько, сколько бы хотелось. Жертвовать стали намного меньше! — откровенно призналась она. — А одним садом и огородом не проживешь. Вот, например, каждую неделю нужно священнику платить, городской больше денег возьмет, сельский батюшка — поменьше, а платить все равно надо.

— Отчего же православный батюшка бедным православным сестрам бесплатно не отслужит? — удивился я.

— Так не принято, — ответила монахиня, — вы, наверное, не понимаете. Священник живет от престола, у него тоже матушка, детки. Как не платить?

— Заведите своего, — предложил я.

— Вам легко говорить, — вздохнула она, — для своего нужно дом построить.

Матушка на несколько секунд задумалась, а потом вдруг решительно сказала:

— Александр Григорьевич, я хочу вас о чем-то попросить…

— Пожалуйста, — вежливо ответил я, — если это в моих силах…

— Это в ваших силах. Скажите, а вы в мужской монастырь поедете?

— Тот, что в километрах десяти отсюда?

— Да.

— Сегодня — нет, но в следующий раз и в мужской заедем.

— Александр Григорьевич, я вас очень прошу, вы, пожалуйста, всегда, когда везете паломников, сначала в наш монастырь приезжайте, а уж потом в мужской.

— Хорошо, матушка! Почему бы и нет? Я понимаю.

— Значит договорились?

Я улыбнулся.

— Договорились!

— Кстати, я заметила сегодня, что вы не крестились, когда подходили к церкви. Простите, но вы что… не крещеный?

— Нет, матушка, не крещеный.

— Вот что, Александр Григорьевич, — с воодушевлением сказала она, — приезжайте к нам как-нибудь один, без паломников, мой телефон у вас есть. Приезжайте! Я вас познакомлю с одним батюшкой, он удивительно тонкий, душевный человек. Батюшка до семинарии академию художеств закончил. Он вам понравится! И матушка у него хорошая. Мы вас тут быстренько и покрестим!

— Нет, матушка, — ответил я печально, — я не буду креститься.

— Почему?

— Я агностик и природный еврей. А вы же знаете, как в народе говорят: жид крещеный, что вор прощеный!

— Так ведь это просто глупая пословица, — с досадой сказала матушка. — Двери в церковь открыты для каждого!

— Простите, но я уж как-нибудь так… позвольте в знак уважения поцеловать ваши ручки! — сказал я, наклоняясь к ее руке

— Не надо мне ручки целовать! — сердито сказала матушка, пряча левую руку за спину, а правой протягивая мне распятие. — Вот вы лучше крест поцелуйте!

— Нет, — ответил я, выпрямляясь, — крест я целовать не буду. Прощайте, матушка!

— Александр Григорьевич, так вы не забудьте! Сначала к нам, а потом в мужской!

— Не забуду, матушка. Я же обещал!

Подходя к воротам, я увидел у голубятни стройную фигуру сестры Феоны. Сердце мое сжалось, но я быстро отвел глаза.

«Вот идиот! — сказал я себе, — не хватало еще в монахиню влюбиться!».

Я достал сигарету, закурил и пошел к автобусу.

— Все на месте? — спросил я, входя в салон.

— Одной женщины нет, — ответил Сергеич.

— Ладно, подождем. Ну, что, как вам наше путешествие? — спросил я паломников. — Понравилось в монастыре?

— Очень понравилось! — ответили паломники.

— Насчет обеда сестры постарались, — заметила Анна Михайловна, — вкусно приготовили! И цветов много, как и положено.

— Да, цветов много, — сказал я, улыбаясь, — и какую все-таки красивую — чистую жизнь ведут здешние монахини!

— Ну, насчет их чистоты я бы утверждать не стала, — возразила вдруг Анна Михайловна, — мне кажется, эти монахини ни в каких удовольствиях себе не отказывают.

— Правильно говорите, — поддержала ее Валентина Ивановна, — какая там чистота!

Она иронически улыбнулась и пожала плечами.

— Что вы хотите этим сказать? — не понял я. — Сестры обеты давали!

— Обеты они, конечно, давали… да соблюдают ли они эти обеты? — сурово сказала Анна Михайловна. — Я три года на филологическом училась, читала и «Декамерон», и «Монахиню» Дидро. В этих монастырях черт знает что творится!

— Александр Григорьевич, а вы видели у них плиты на кладбище? — вступила в разговор паломница, та, которая спрашивала у сестры Феоны, как ей лечить руку, — так вот, — торжествующе сказала она, — под этими плитами и лежат их грехи!

— Какие грехи? — растерялся я.

— А такие! Вы вот послушайте, что мне отец рассказывал. В двадцатых годах это было. Пришли однажды наши чекисты в женский монастырь, отбирать добро, награбленное у народа. Решили поискать на кладбище, подняли плиты, одну, другую, а там — груднички лежат, младенчики… так этих монахинь тут же всех и расстреляли! — усмехнулась она.

— Вы с ума сошли! Это же бред! — не выдержал я.

— А вот и не бред! Мой отец был настоящий коммунист и ответственный работник. Он никогда не лгал!

— Ты сейчас, Петровна, ерунду несешь! — решительно остановил ее Владимир Павлович. — Врал — не врал… это все — антирелигиозная пропаганда, большевики умели тень на плетень наводить. А насчет чистоты и святости монахинь я вам вот что скажу, Александр Григорьевич, — весомо продолжал он, — недавно я смотрел интервью с журналистом Невзоровым. А Невзоров, согласитесь, человек умный и осведомленный. Так вот он и сказал: «Надо запретить монахиням выращивать кабачки цуккини». И я тоже так думаю. Человек есть человек. Природа своего требует, — развел он руками, — ее не обманешь! О какой чистоте может идти речь?

— А при чем тут кабачки? — тихо ответил я, чувствуя, как щеки мои краснеют. — Это же… овощ!

— Александр Григорьевич до седых волос дожил, а все наивным дурачком прикидывается, — ехидно сказала Валентина Ивановна. — Как будто не понимает, для чего монашки кабачки цуккини выращивают!

— Постойте, но ведь есть среди монахинь и молитвенницы, и подвижницы!

— Да бросьте, вы, Александр Григорьевич, — засмеялся водитель, — знаем мы, как они двигаются! А вот и наша опоздавшая.

Он быстро выскочил из кабины, и открыл перед паломницей дверь в салон. Я подал ей руку и помог сесть в кресло.

— Простите меня, — сказала она, тяжело дыша, — голова закружилась, ноги не идут — еле доползла. Мне восемьдесят два стукнуло в этом году. Больше — никаких монастырей!

Я пересел в кабину.

— Едем, Сергеич!

Автобус тронулся, быстро набрал ход и скоро оставил далеко позади тихую обитель и милую моему сердцу сестру — Феону. Я застегнул куртку доверху и с тоской стал смотреть в окно.

Лидия ГРИГОРЬЕВА

ДОЛИНА ПОПУГАЕВ

(рассказ)

Спускаться в долину нужно было по узкой каменной лестнице без перил и любой мало-мальской опоры, да еще и ступени ее заросли скользкой ползучей травкой. Нелегко было преодолеть этот крутой спуск, ведущий в узкую горную расщелину.

Но она спустилась, и выйдя из-за уступа скалы, очутилась на безлюдной парковой аллее, показавшейся ей еще более пустынной и голой от отсутствия кустарников или хотя бы свалявшейся на солнцепеке травы, но зато густо обсаженной уходящими в перспективу чахлыми пыльными пальмами. Земля под ногами была сбита в камень, припорошенный глубокой, почти по щиколотку, пепельной пылью.

Она готова была уже разочароваться: проделанный ею рискованный путь явно не соответствовал полученному результату.

Но тут слетелись попугаи.

Их было так много, что она поначалу даже слегка испугалась и отступила. Не тут-то было. Попугаи и попугайчики, самых разных размеров и удивительных расцветок, окружили ее радужным порхающим кольцом. Они летали вокруг нее, ходили у ее ног по земле, подпрыгивали и словно бы (она не сразу даже это сообразила) ластились к ней, просились на руки!

И все же, даже пораженная увиденным, она ни на минуту не забывала, что ей обязательно сегодня нужно успеть на вечерний самолет, чтобы вернуться к своей семье, которую она неожиданно даже для себя оставила, никого при этом не предупредив, в соседнем городе этой чужой и знойной страны. Уж не ради ли этих попугаев…

Да возжелай она погладить и приласкать каждого, ей не хватило бы времени, отведенного ею самой для этой прогулки!

Больше всех преуспел пушистый и круглый, словно шарик, зеленый попугайчик. Он по свойски разместился в ее ладони, заставив ее при этом слегка сжать пальцы, от боязни выронить это мягчайшее ласковое чудо, сладко щекочущее ее кожу своими перышками.

Боже мой! — подумалось ей. — Как же они, должно быть, одиноки! Им так не хватает ласки! Они готовы в каждом случайном прохожем видеть свою родню, словно брошеные детишки из детского дома. Оттого, наверное, в эту долину и едут люди со всего света, чтобы приласкать малых сих. А то и самому приласкаться…

И эта знаменитая местная жара, вернее, нестерпимый зной, высушивший землю до состояния пороха, никому не помеха. Это просто сегодня так все совпало, что никого тут нет, но Серафима слышала от кого-то, что порою здесь не протолкнуться от желающих.

Желающих чего — только теперь она и поняла.

Эта долина странных попугаев, словно бы очеловеченых желанием прикоснуться, прильнуть, припорхнуть, доверчиво прижаться к постороннему

человеку, тем самым как бы приняв его в свою родню, была совсем небольшой, неширокой и вполне обозримой для глаз.

Куда бы она ни посмотрела, повсюду в горячем белом воздухе роились и порхали попугаи. Крупные и большие, сбиваясь в стаю, красочными живыми гирляндами свисали с неба. А те, что поменьше, мельтешили и болтались у нее перед носом, как цветные китайские фонарики или размалеванные во все цвета радуги воздушные змеи.

Порой они опускались у ее ног и словно бы выстраивались в очередь, ожидая, что она вот-вот освободится и успеет погладить алый или лиловый, зеленый или оранжевый дрожащий от нетерпения хохолок.

Нетрудно было заметить, что очередь они, в отличие от людей, соблюдали, пропуская вперед самых маленьких или, может ей это только показалось, потрепаных и несчастных.

Нужно было спешить, но она вместо этого присела на выщербленную ветрами каменную скамью, и только тут почувствовала, как устала.

От невероятной жары и зудящего, как стая таежного гнуса, изнуряющего зноя ее пробил внезапный озноб. Она бы с удовольствием откинулась на спинку скамьи, чтобы хоть немного отдохнуть и расслабиться, но, похоже, кто-то тщательно продумал и организовал пространство и в самой долине, и вокруг нее: спинки у скамьи не было. Со всей очевидностью посетителям предлагалось держаться за раскаленный воздух и при спуске в долину, и при прогулке по ней.

Она попробовала устроиться поудобнее на скамейке, до блеска отполированной тысячами предыдущих любителей раздавать свои нежные ласки несметным стаям непуганых попугаев, и чуть не опрокинулась назад от неожиданности.

Как она могла сразу их не заметить? От жары, что ли, глаза заплыли или в голове помутилось от зноя…

На краешке скамейки, утопив клюв под крылом и словно бы свернувшись клубочком, лежал (или сидел?) совершенно желтый попугай. Похожий на облачное золотое марево или миражное видение, этот «милый, милый, большой дуралей», мог пострадать от ее неловкости. Она попросту могла бы на него сесть, не заметив. И хорошо, что вовремя отстранилась.

Да и жив ли он? Так неподвижен…

Она уже протянула к нему руку, чтобы дотронуться, но тут это желтое облако зноя само зашевелилось и, откинув в сторону одно крыло, распустило веером блестящие перья и словно бы потянулось со сна. И тогда Серафима увидела под его крылом еще один жаркий оранжевый шарик: попугайчика-младенца.

Ох! — умилилась она. И тут же, словно бы ей подсказали, догадалась, что это отец, стерегущий, оберегающий от напастей крохотного младенца-сына. У этой семейной идиллии было явное мужское «лицо». Почему она так подумала, она не смогла бы объяснить, наверное, никому. Догадалась и все тут.

Серафима прекрасно знала, что такими страстными отцами, себе во вред, бывают только антарктические пингвины, остальные птицы-отцы не так чадолюбивы, хоть и добывают для птенцов корм наравне с самками. Но защищать своего младенца от холода или жары и любой другой грозящей им напасти ценой собственного благополучия или свободы передвижения могут только пингвины.

Иногда и люди. Но только иногда…

Раскаленное добела и оттого почти невидимое солнце было уже готово, как она вдруг ощутила, погасить свою жаровню, этот раскочегаренный небесным

сталеваром плавильный цех. Стало легче дышать, и это были первые признаки скорого вечера, преддверие заката. Она по опыту знала, как быстро темнеет на юге. Следовало спешить.

С явной неохотой поднялась она со скамьи, не забыв при этом ласково потрепать желтого папу-попугая по большущему, просто-таки королевскому хохолку (на младенца она не посягнула из боязни навредить), и пошла себе восвояси.

Скоро заямачил и выход из долины. Пошли какие-то невзрачные домишки, почти лачужки и бесконечные южные лавчонки со всякой всячиной, от оплавившихся на солнце фруктовых пирамид до дешевого сувенирного барахлишка, почти как в Дели или Джайпуре.

Стали попадаться редкие прохожие храбрецы, не устрашившиеся драконьего дыхания неслыханного зноя. Все это были, конечно же, местные жители. И потому Серафима глазам своим не поверила, увидев среди них молодую женщину европейского вида с двумя детьми (одна дочь была на руках!), и еще больше удивилась, признав в ней знакомую по Москве хозяйку модной художественной галереи.

Катя Озерова тоже заметила Серафиму, они остановились, и было заметно, что неожиданная встреча в столь экзотических местах если кого и удивила, то только одну Серафиму.

Невозмутимо, как нечто обычное, Катя сообщила, что они всегда отдыхают всей семьей именно в этом месте. Две Катиных девочки, пяти и двух лет, известные их общим знакомым своей неудержимой, почти болезненной гиперактивностью, вели себя на удивление тихо и спокойно. Пожалуй, что стоило сюда с ними ездить, если это место так на них влияет.

«Но тут же скука, наверное, смертная! Ничего интересного нет, я уверена, кроме этой долины!» — горячо воскликнула Серафима, с неожиданной для себя самой бестактностью.

«Ну, что ты, — спокойно возразила Катя, — посмотри, какой прекрасный город. И очень древний...».

То ли жара и вправду стала спадать, потому что бесцветный раскаленный воздух, прямо на глазах, стал приобретать объем и цвет. И в голографическом воздушном пространстве, под лучами вечернего ультрафиолета, вдруг словно бы сам собою нарисовался на фоне неба невидимый до этого город.

Дома с высокими крепостными стенами, с узкими, как щели или бойницы, окнами, были сложены из темных, покрытых влажным зеленым мхом (в этих-то широтах!), каменных глыб. Глубокие, как горные теснины, улицы-ущелья стекали с окружающих гор в Долину Попугаев, словно каменные водопады, сами по себе, без человечьей воли, нагромоздившие эти многоэтажные жилища.

На самолет она, конечно же, опоздала. Чувство вины перед покинутой неизвестно ради чего семьей троекратно возросло, душа болезненно сжалась и засаднила. Серафима уже пожалела, что не спросила Катю, где та остановилась.

Не успела она подумать о том, как и где теперь скоротать жаркую южную ночь, в чужом-то городе и в чужой стране, как в дверь ее номера в пятизвездочном отеле Пальм-бич громко и настойчиво постучала бестолковая горничная.

Серафима спросонья едва поняла, что опять забыла с вечера вывесить за дверь пластиковую табличку с просьбой на пяти европейских языках: «Не беспокоить!». И неохотно, но окончательно проснулась.

Уже много лет подряд, в январе, что бы ни случилось, она старалась улететь на неделю или две именно сюда, в этот отель не просто на берегу океана, а, как ей хотелось думать, на краю света.

Облюбовав однажды и навсегда южный берег маленького атлантического острова в ста километрах от Африки, она берегла в себе эту находку, как интимную тайну или редкое сокровище, и никому о нем не говорила, боясь, что если не украдут, то обязательно сглазят.

После завтрака Серафима вышла на бесконечную набережную, возвышавшуюся над пляжным береговым пространством ровно настолько, насколько высоки были скальные берега этого острова-вулкана, дрейфующего в атлантике уже много тысяч лет. Во время прогулки она любила остановиться и смотреть сверху на океан, простертый на юг до самой Антарктиды.

Там, где-то далеко на севере, лежали снега или моросил противный ледяной дождь, а здесь роскошные бугенвилии развесили на оградах свои разноцветные бумажные фонарики, расплескались в воздухе розовые и голубые олеандры, и прочие неопознанные нарядной курортной публикой растительные экзоты.

Порхали шоколадно-кремовые бабочки, размером с маленькую птичку. И большими шумными стайками перелетали с места на место изумрудные и алые попугайчики, похожие на шелковый театральный веер.

Облокотившись о парапет смотровой площадки, Серафима не сразу заметила остановившуюся рядом с ней молодую длинноволосую девицу в шортах, почти полностью обнаживших ее крепкие ягодицы, и в коротенькой майке, открывавшей для всеобщего обозрения розовый выпуклый пуп. Девица закурила и неожиданно визгливым голосом стала подзывать к себе не то приуставшего, не то заупрямившегося ребенка лет пяти, остановившегося неподалеку.

Девочка тоже была в шортиках и (зеркальное отражение мамы) в короткой, открывающей плоский животик, маечке. На голове у нее была повязанная узлом на затылке косыночка, для защиты от неминуемого дневного солнцепека.

Одну руку ребенка оттягивало большое синее ведерко с лопаточками и формами для песчаных куличиков на океанском пляже, куда они, по всей вероятности, и направлялись, а в другой она держала крупную лысую куклу, на которой, кажется, помешалась вся детвора планеты, из серии «беби-берн». То есть, кукла-новорожденный, кукла-младенец.

Серафиме как-то пришлось по случаю дня рождения дарить эту новомодную нелепицу страшно избалованной пятилетней дочке своей московской приятельницы Кати Озеровой. С тех пор она знала и помнила, что кукла эта и писает, и ест, и плачет настоящими слезами, и руки ребенку оттягивает своим неигрушечным весом.

Ребенок со всей очевидностью дулся на маму и никак не хотел подходить. Но при этом обиженное или расстроенное чем-то дитя прижимало к себе кукольного младенца с такой недетской силой и нежностью, что и ежику стало бы понятно, как это пластмассовое чудовище преданно и горячо любимо.

Это была любовь — на уровне касанья, на уровне нежной заботы и ласки, как там, в Долине Попугаев.

Чтобы не разрушить очередной визгливой репликой голозадой девицы, призывавшей чадо к послушанию, нечаянно обретенное ею ощущение гармонического равновесия от лицезрения крохотного, но уже умеющего

любить существа, Серафима, фальшиво улыбнувшись, промолвила:

«Какая славная девочка! И так любит своего младенца. Наверное, ты будешь хорошей мамой!»

«Это не девочка! — без обиды, и даже как-то весело проверещала девица. — Это — Арктур! Он просто забыл надеть панамку, и я ему повязала на голову свой платочек, чтобы не напекло!»

«Но ведь этот кукольный младенец, смотрите, он уже написал ему на шортики…»

«А он это любит! Он хочет быть хорошим папой!»

И они ушли, оставив смущенной Серафиме смутное ощущение чего-то волнующего и знакомого. Где-то она уже видела этот распушившийся желтый хохолок, непокорно выбивавшийся из-под нелепой повязки. Она машинально взяла в руки глянцевую рекламку, небрежно брошенную девицей на каменный парапет, и прочитала сообщение, сочно и красочно пропечатанное на пяти европейских языках, включая русский:

«Только хорошие новости для наших гостей! В кратере вулкана, в самом глубоком из его ущелий открылся новый голографический атракцион — Долина Попугаев!»

Все, сказала себе Серафима, приехали.

2–8 февраля 2006 г.

Николай ТОЛСТИКОВ

«КРАСНЫЙ» АРХИЕРЕЙ

(рассказ)

Над монашками еще и глумились долго, потому как не старухи древние они еще были.

Командир карательного отряда — тщедушный низкорослый мужичок средних лет, повернул желчное, заросшее щетиной, лицо к стоявшему рядом пожилому бойцу:

— А вы, товарищ, не хотите присоединиться к молодцам?

И зло-весело сверля его карим глазом — другой был, ровно заслонкой, прикрыт бельмом, кивнул на заброшенный овин, откуда доносились девичьи стоны и причитания.

Дядька растерялся, опустил ствол винтовки. И тут же остановились, перестали выбрасывать лопатами землю из ямы вкопашиеся уже по грудь два священника и немолодой, но крепкий мужик — церковный староста. Они смущали народ, когда из монастырских храмов и здешней приходской церкви отряд выгребал ценности. С ними, с «контрой», долго не чикались, тут же к высшей мере приговорили.

Лишь по-прежнему стоявший на коленях возле края разверстого зева ямы восьмидесятилетний старец-архиерей монотонно, нараспев, читал молитвы; ветерок шевелил на его голове реденький белесый пух.

— Что, работнички? Хватит с вас? Авось, все поместитесь! — бельмастый знаком приказал копалям выбираться из ямы.

Разрумянившееся потные бойцы вытолкнули из сарая трех монахинь. Они, увязая босыми ногами в холодной супеси и пытаясь прикрыть наготу разодранной одеждой, взошли на земляной бугор. Монашенки помоложе жались к настоятельнице, статной сорокалетней женщине. Оглянувшись, она ожгла палачей взглядом черносмородинных глаз.

— Приготовиться! — скомандовал бельмастый, с усмешкой косясь на молоденького служивого с расцарапанной мордашкой; тот, вжимая в плечо приклад винтовки, старательно целился. — Пли!

«Какая баба красивая! — ненароком успев встретиться со взглядом игуменьи, вздохнул пожилой дядька. — Эх, губим!.. Каторжанец, твою мать!»

Он поморщился от звука скрипучего неприятного голоса бельмастого, выкрикивающего команды.

Другой залп смел в яму священников и старосту, остался стоять епископ с воздетыми к небу руками, шепча слова отходной молитвы. Но вот и он повалился.

— Свадьба что надо — невесты, женихи и посаженный батюшка! Зарывайте!

Бельмастый отошел к воротам овина, запалил остатки сена. Бойцы, торопливо закидывая землей убиенных, хмуро косились на своего командира: он, неотрывно глядя на взметнувшиеся языки пламени, бормотал что-то, лишь ведомое ему...

— Серафима!..

Епископ-обновленец Александр Надеждинский, высокий, худощавый, после бессонных ночей с набрякшими синими подглазьями на осунувшемся

лице, мерил шагами взад-вперед полутемную горницу; при тусклом свете керосиновой лампы длинная уродливая тень бестолково металась по стене.

Чумазый, со спутанной гривой нечесаных волос, парень, заикаясь и плача, закончил свой сбивчивый рассказ и, когда Александр сдавленно простонал, сжался в углу, вылупив полубезумные глаза. Рот его перекосился в страшной гримасе, на губах запузырилась пена, и через минуту парень забился в припадке на полу.

Прибежавший на шум епархиальный секретарь остановился в растерянности, не ведая, чем помочь парнишке. Он первый приметил этого оборванца, трущегося около архирейского подворья. Парня прогоняли, а он все упорно норовил попасться на глаза архиерею и, стоило епископу Александру выйти на крыльцо, бросился ему в ноги, лопоча невразумительно и обливаясь слезами. Его попытались оттащить прочь, но кто-то из обслуги признал в нем иподиакона убитого епископа Варсанофия.

Он видел все… Родом из тех мест, исхитрился как-то прошмыгнуть напрямки лесом, пока приговоренных везли окружной дорогой на место расстрела, затаился в кустах, после того как упал последним владыка, заревел в полный голос. Не услышали: спасло то, что рьяно занялись, затрещали, стреляя далеко головешками, крыша и стены овина, и в этой зловещей трескотне потонули рыдания парнишки…

Епископ Александр, хотя и не разобрал доброй половины слов, но представил себе произошедшее до сердечной обессиливающей боли зримо.

«Серафима!..»

Вроде бы с той поры и немного лет минуло, и… много…

У них все было сговорено. Великая Смута только начинала надвигаться, расправлять над Россией кровавый свой морок, но все еще в жизни казалось прочно, незыблемо.

У Александра подходила к завершению учеба в духовной академии, надо было решать: принимать ли монашество, либо приглядывать себе невесту, жениться и ждать святительского рукоположения в приходские батюшки. За будущей матушкой дело не стало. На рождественские каникулы из Лавры он летел к Серафиме в мыслях, как на крыльях, но мучительно медленно тащился поезд. Проплывали за окном сонные, засыпанные снегом полустанки, оставались позади станции с важно вышагивающими по перрону городовыми и ватагами гомонящих пирожников, и — опять за окном то глухой сумрачный перелесок, то холмы с черными пятнами деревенек на вершинах.

С Серафимой выросли вместе. Отец ее был настоятелем храма в городской слободке, отец Александра — простым псаломщиком. Александр хорошо помнил, как трепетал отец перед суровым громогласным протоиереем, допустив оплошку в службе, и, выслушав внушения, заискивающе лебезил. Услужливо прогибая спину, он тыкался багрово-красной коковой носа в холеную поповскую руку, ища благословения и забвения вины.

Поначалу маленький Саша тоже боялся гневных настоятельских глаз и прятался, позже ему становилось стыдно за отца. Тот, пережив очередную выволочку, все чаще прикладывался к кружке с компанией нищебродов за углом и, наклюкавшись, беззвучно плакал, размазывая слезы по лицу. Сыну быть вот таким не хотелось…

В семинарии Александр выбился в первые ученики, а когда оказался в академии и в редкие побывки дома встречал старого протоиерея, тот теплел взглядом: «Каков молодец! Не в тятьку!»

Глаза у Серафимы — в отца-настоятеля, жгуче-черные, только не гневливые и высокомерные, а с обвораживающей лукавинкой и тайной на донышке.

Приехал как-то на каникулы Александр, увидел неожиданно расцветшую из нескладной девочки-подростка Серафиму и без памяти влюбился…

После вагонного тепла Александр, выйдя на перрон, мгновенно продрог от налетевшего свирепо ледяного ветра, охрип, пока кричал извозчика, и, наконец, постучав в дверь родного дома в слободке, еле слышно откликнулся просевшим голосом.

Матери подсказало сердце: сразу распахнула дверь. В домике было уютно, тепло, пахло ладаном, в красном углу трепетал огонек лампадки перед святыми ликами. Только не встречал отец: однажды после настоятельской взбучки вышел из храма, шагнул еще раз-другой и упал.

Александр, долго не церемонясь, забрался на русскую печь и на жарких кирпичах лежанки тут же провалился в сон.

Пробудился он от того, что мать, взобравшись на приступок у печи, трясла его за плечо:

— Санушко, стукается к нам кто-то! Ночь ведь глухая!

Алексндр прислушался: то ли ветер хлопал незапертой впопыхах калиткой, то ли вправду топтался кто на обледенелых тесинах крыльца и дергал за дверную скобу.

За дверью ответили не сразу, будто раздумывали:

— Пустите, люди добрые! Не дайте погибнуть!

Серую невзрачную одежду вошедшего, от наброшенного на голову капюшона до бахил на ногах, облеплял снег; незнакомец прижимал к груди окоченевшие без рукавиц руки. Александр стащил с него «наволоку», явно не по его низенькому росту, мать, охая, принялась растирать шерстяным шарфом незнакомцу белые, как снег, кисти рук.

Нежданный гость, усаженный на табуретку, прижимаясь спиной к жаркому боку печи и постанывая от боли, меж тем настороженно оглядывал горницу. Был он одних лет с Александром, по смуглому лицу с тонкими чертами, по длинным «музыкальным» пальцам угадывался скорее студент, хоть и назвался он купеческим работником, отбившимся от обоза и заплутавшим в такую непогодь.

Один глаз у него, точно заслонкой, был прикрыт бельмом, другой же, темно-карий, с «печалинкой», изучающе-неотрывно следил за хозяевами.

— Мне б только до утра отогреться, потом пойду догонять своих… Вашу доброту век не забуду!

Он и, верно, ушел, едва рассвело, и метель улеглась.

Александр, собираясь к Серафиме, скоро бы и забыл про ночного гостя, кабы днем к Надеждинским не заглянул урядник: не видали, мол, такого-то? И приметы точные назвал. С этапа арестант намедни убег, обыскались, но как сквозь землю провалился.

Александр, представив занесенную снегом, скрюченную от мороза фигуру на крыльце, промолчал, недоуменно пожимая плечами.

— Прощевайте тогда! — пожилой урядник, прихожанин здешнего храма, расспросами больше томить не стал, вздохнул только, подходя к двери: — Опасный преступник — вам скажу! Бомбометатель! Если что, вы уж…

На пороге он столкнулся с городовым:

— Нигде нет, ваше бродь! — доложил тот.— Может, замерз, и пургой занесло?

— Туда ему и дорога! Жаль, что не взяли…

Александр встрепенулся, хотел выбежать на крыльцо вслед за полицейскими, но, толкнув было дверь, остановился, чувствуя, как краска стыда начинает заливать лицо. Сначала промолчал, жалея замерзающего бедолагу, а теперь — нате, вот! — опамятовался. «Поймают его сами. И на мне греха не будет, — утешил он себя…

Но потом, уже в Санкт-Петербурге в академии, случившееся той морозной ночью все равно не давало ему покоя, засело занозой: «Он же бомбист, наверняка на совести загубленные жизни!»

Великим Постом Александр, облегчая душу, исповедовался отцу Пармену. Выслушав десятка два «академистов», тот безразлично-непроницаемо поглядывал на кающегося Александра, как механический болванчик размеренно кивал головой с реденькими волосенками, зачесанными в жиденькую косицу. Когда же Надеждинский решился упомянуть о беглом арестанте, которого укрыл, в обычно сонных глазах отца Пармена сверкнул хищно и настороженно интерес, что Александру не по себе стало.

И предчувствие не обмануло…

Спустя недолгое время, Александр, держа в руке саквояж с пожитками, добирался до вокзала: нежданная дорога домой предстояла. Его окликнул вдруг Васька Красницкий, по прозвищу Революционер, тоже на днях отчисленный из академии — маленький суетливый человечек с бегающими неприятными глазками. Они торопливо, но сноровисто ощупывали Надеждинского:

— Горюешь, брат? Но дело ты стоящее сделал, проболтался вот только зря… Узналось как? Пармен?!

Александр, немного удивленный Васькиной прозорливости, растерянно кивнул.

— Одному ему на исповеди и сказал.

— Нашел кому! — Красницкий налился краской, сердито запыхтел, засопел. — Он же у начальства глаза и уши! За тем к нам и приставлен был!

Васька учился с Надеждинским на одном курсе, но Александр держался от него поодаль. Непоседе Красницкому учение давалось легко, отпрыск столичной «поповки» позволял себе на лекциях дерзить с преподавателями и подначивать их. Терпели Ваську до поры до времени; а он в какие-то тайные кружки стал похаживать, чем и прозвище себе заслужил, затесывался в демонстрации рабочих на питерских улицах и однажды неслабо получил по спине нагайками от казаков.

«Мне революционеры не нужны! Мы здесь Богу молимся, а не по баррикадам бегаем! И с господами бомбистами не знаемся! — отзвук раздраженного густого баса ректора академии до сих пор гудел у Александра в ушах. — Ладно, тот олух Красницкий — хлыщ столичный, а ты куда лезешь, деревня неумытая?!»

— Даст Бог, свидимся еще! — Красницкий, привстав на цыпочки, троекратно ткнулся Александру в щеки мокрыми холодными губами и пропал в людской толчее на тротуаре.

«Он, похоже, не сожалеет, что и исключили, — вздохнул Надеждинский. — Мне-то вот каково возвращаться?..»

Дома, в слободке, было привычно тихо, редкий прохожий неторопливо, осторожно брел по прихваченной утренним морозцем осклизлой тропинке; размеренно, редко позвякивал на звоннице церкви одинокий колокол — шла Страстная седмица, наставал Великий Четверток.

В тесном, полутемном, с низеньким сводом, но зато с детства знакомом и дорогом фреской ли со святым ликом на стене или старого письма иконами храме, Александр стоял на коленях перед Распятием и молился. Прихожан было много, стояли плотно, неловко в тесноте крестились. Надеждинский чувствовал на себе их взгляды — вырос он на глазах у многих, и взоры эти были то сочувственные, то недоуменные, но ни одного — недоброжелательного и злого. Нехорошая весть доходит ведь быстро. Ему стало еще горше.

«Господи помилуй, помоги и не оставь!» — шептал он, глотая слезы…

Серафима ждала его у калитки в церковной ограде, с тревогою заглянула в глаза:

— Приехал, а к нам не заходишь. Меня избегаешь будто…

Она ласково дотронулась до его руки, но Александр подавленно молчал и даже до дому ее не проводил, отговорился каким-то срочным делом.

— Ты к нам в Пасху-то придешь? — уже вдогонку крикнула Серафима. — Я ждать буду!

Лучше бы было не ходить в настоятельский дом, да куда себя денешь и никуда от себя не убежишь…

Не успели Александр расцеловаться и «похристосоваться» с Серафимой, как старый протоиерей, ее отец, взорвался возмущенно, только что Александра со двора не погнал в толчки:

— Мне смутьяна и каторжанцев дружка в зятья не надо! Что стоишь, впрямь орясина, глазки потупивши? Будто и из академии не вышибли?! Забирайся к своим каторжанцам и про мою дочь забудь!

— Тятенька, перестаньте! — попыталась утешить отца Серафима, только куда там!

— В горницу иди! Обрадела женишку-то, выскочила! — зыкнул вконец рассвирепевший протоиерей на дочь. — Не будет вам моего родительского благословения! Во веки веков!

Александру вспомнился покойный бедняга отец: то-то дрожал огоньком грошовой поминальной свечки, переживая настоятельский гнев! Да и самому бы теперь впору сквозь землю провалиться.

Серафима же поджала в тонкую ниточку губы, и в черных глазах ее строптиво заблестели гневные огоньки:

— Я тогда в монастырь уйду!

— Скатертью дорога!..

Иеромонах Александр, принявший «постриг» несколько лет назад, пережидал Смуту в маленьком монастырьке под Питером.

Что ожидало впереди?..

Малочисленная братия истово молилась в храме; кто-то предложил по крепкому еще льду Финского залива податься за границу.

«На все воля Божья!» — сурово одернул ослушника старик-игумен.

Внезапно заявился… Красницкий. Александр поначалу и не узнал его: сановный, в теплой широкополой рясе и алой бархатной скуфье, протопресвитер неспешно выбрался из кибитки и важно, вразвалочку, направился к храму.

— Да! Небогато у вас! — окинув беглым взглядом убранство внутри, вздохнул он и уставился на Александра. Даже в заплывших сонных глазках вслед за удивлением мелькнула неподдельная радость.

— Не ждал, не гадал, что ты тут! — когда остались с глазу на глаз, проговорил Красницкий. — Не сбились бы с дороги, век бы в эту дыру не заехал! Да ладно… Я теперь член Высшего Церковного Управления, слыхал о таком? Самого патриарха Тихона вот где держим! — Красницкий крепко сжал маленький, в рыжих конопушках, кулачок. — Что тебя здесь ждет? Ну, разгонят вас, монасей, и то… в лучшем случае. А у нас, «живоцерковных», епископом будешь. Поедешь в свою Вологду церковную жизнь направлять и обновлять. Тянет на родину, а?!

Когда глава «Живой Церкви» митрополит Введенский и с ним еще двое архиереев-обновленцев в Москве соборно «поставили» Александра во епископы, он опять припомнил своего, всегда униженного, дьячка-отца и громогласого хамоватого протоиерея. Не будет на приходах такого при нем, новом архиерее!..

Попутчик удивил — влез в купе вагона весь в скрипучей черной коже, козырек кепки, как у бандита — на самые глаза. Сел молча у окна и, когда поезд тронулся, спросил картаво скрипучим голосом:

— Не узнаете меня? Вы мне жизнь той давней зимой спасли!

Попутчик снял кепку и в солнечные блики, отражающиеся от стекла, осветили нашлепку бельма на его глазу.

— Едем вот с отрядом разную контру шерстить, в том числе и церковную. Рад, что вы на нашей стороне…

По приезду в Вологду бельмастый комиссар со своим отрядом немедля ушел по храмам «изымать ценности», а новоявленного епископа ждала весьма скромная встреча. Хотя местная власть подсуетилась, и большинство храмов в городе «заняли» попы-обновленцы, немногая числом кучка раскольного священства, бывшая не в чести у прежних архиереев, подходила под благословение к епископу Александру.

А народ Божий в храмы к обновленцам не пошел! Так и служил потом новый «владыка» в аукающей гулким эхом пустоте. Отряд же Бельмастого, разоряя церкви, всякое мало-мальское сопротивление жестоко карал, и на слабые протесты «красного» архиерея там давно махнули рукой: будет лишка выделываться — и самого к ногтю прижмем!

— Что мы, ровно раскольники, творим-то, кому помогаем и способствуем?! Под чью дуду пляшем?!. Господи, помоги и вразуми! — молился в своих «владычных покоях» Александр.

Весть о расправе над Серафимой и монахинями была последней каплей.

— Возомнили мы о себе, в великую прелесть впали! Надо ехать к Святейшему Патриарху Тихону и — в ноги ему, каяться!

С городского вокзала тронуться в путь Александр не решился: архиерей — не иголка, всяк заметит.

— Домчим полегоньку, надо — и до Москвы! — епархиальный кучер, вроде бы человек надежный, споро погонял пару лошадей, заложенных в тарантас.

Но отъехать от Вологды далеко не удалось. В сумерках на глухом проселке нагнал беглеца конный отряд.

— Вы мне когда-то жизнь спасли, я тоже в долгу не останусь! Возвращайтесь и будьте с нами заодно, как прежде! А про ваше бегство будет забыто, — Бельмастый выжидательно помолчал. — Нет?! Хотите умереть праведником? Не получится! Слух будет пущен, что вы, святой отец, прихватили церковное золотишко и того… втихую смотались за кордон!

В густеющих сумерках бельмо на глазу комиссара проступило явственней, зловеще.

«На кого же он так похож? — подумал Александр; страха не было.

— Иуда?.. — одними губами успел еще прошептать.

Сухого щелчка выстрела он не услышал.

В разлившемся вдруг перед ним сиянии предстала радостно и светло улыбающаяся Серафима, юная, красивая, как в те далекие годы…

Инна ИОХВИДОВИЧ

КОРОТКАЯ ПРОЗА

В бессонницу

Светящийся циферблат показывал без двух минут — три часа ночи. Надежды на то, что сон до утра хоть на час придет, уже не осталось. Таблетки снотворные закончились еще позавчера. А кости ног, будто нарочно ломили и ныли все сильнее, и она потихоньку стонала, думая при этом, что как же все-таки хорошо жить отдельно, одной, пусть даже и в «доме для пожилых». «Здесь хоть застонать можно, неважно тихо или громко, все равно никому не помешаешь», — думалось ей. Не то, что дома, где перебудишь и зятя с дочерью (а им на службу) или детей-школьников. В той, большой квартире даже охнуть было невозможно, ночью отчего-то становился потрясающим, акустический эффект.

— Как в концертном зале им. Чайковского!— улыбнулась она.

Непрекращающееся нытье костей, навело на мысль, а не метастазы ли это?! Эмоционально неокрашенная мысль было лишь констатацией. Даже не взволновалась, хотя она знала, что это самые тяжкие из всех, по боли, не снимаемой, как говорили, даже наркотиками!

«Да, в конце концов, не все ли равно, как закончится жизнь, с болью от которой взвоешь, или с незнаемым, во сне, переходом?! Как там Элиот написал: “Не вскриком, но всхлипом…”»

Ох, как она в детстве боялась заснуть, а вдруг утром не проснешься? Об этом ее детском страхе неведомо было никому, родители даже не догадывались, о том, как их девочка таращится в темноту, пытаясь удержать, тяжелеющие веки. Но срывалась в сон, всегда! Ах, какой он был тогда — Всемогущий! Это нынче, без таблеток он не шел, как она его ни призывала. Ему верно было трудно, а может, и невозможно завладеть ее старым телом, которое уже не совсем и телом назвать можно было, (с неполным комплектом органов) в нем лишь безостановочным насосом неутомимо работало сердце да мозг подбрасывал «мыслекартинки» из прежней, прожитой жизни, потому трудно было сну смежить воспаленные веки, помочь расслабиться мышцам, остановить поток воспоминаний…

Чего только не вспоминалось бессонными ночами: какие-то давно позабытые люди, часто даже к ней не имеющие отношения; умершие родители и родственники; люди с которыми довелось встретиться, женщины, с некоторыми дружила, с другими приятельствовала; мужчины, тех, что казалось, любила, бросали ее, от других уходила она сама; одноклассники, однокурсники, многих из них уж давно и на белом свете не было…

И говорила сама себе: «Воспоминания о мертвецах, их у меня уже теперь больше, чем живых!»

Иногда она бывала даже рада своим бессонным ночам, когда ничего не болело, она просто лежала и вспоминала. Про то, что настоящее счастье жить и умереть там, где ты родился. Но, люди, живущие на своей родине, не понимают своего счастья. Как не понимала и она, уезжая в эмиграцию. А как было не ехать, когда уезжало столько народу?! Когда десятилетиями

рассказывался анекдот, что «ехать надо»! А здешние анекдоты?! От них не хотелось смеяться, потому что даже если умом она и понимала его «соль», то душа не откликалась. Приходилось жить в самой себе. Но она же не поэт, в ней самой не было «целого мира»!

Она попробовала выпить теплого молока, вспомнился совет, о полезности его для сна. Безуспешно. Так и продолжала она ворочаться с боку на бок, пристраивая болящее тело. Потом подумала, что эта костная боль мучает ее уже почти год, значит определенно это не метастазы. Но и это «открытие» не обрадовало. Как вдруг вспомнила прочитанное и поразившее ее когда-то средство в книжке американской феминистки. Та была еще и целительницей. Про то, что мастурбация может быть хорошим средством от бессонницы! Что после оргазма, полученного путем онанизма наступает фаза «разрешения», расслабленности всего организма, когда можно, наконец, заснуть!?

«Хорошо, допустим, что это так. Но как же у меня может это произойти, если из-за онкологии вырезано все женское? Ничегошеньки нет! Ведь женский финиш — это неистовая, победная пляска матки?!»

Она погрузилась в воспоминания, о своих возлюбленных, о своих двух мужьях, о своем девичьем аутоэротизме, когда «игралась» сама с собою, как кончала сладко сама, и вправду погружалась в сон после всего этого.

Внезапно она почувствовала тяжесть внизу живота, что всегда являлось предвестником желания, любви и самолюбви, давала возможность избавления от телесного напряжения, от того, что требовало ее, всегда капризное тело…

— Но как же, за счет чего? — мысленно заметалась она, — может быть, ничего и не получится, скорей всего нет! — кричало в ней все, а ноги уже сами приникли друг к другу, внутренние поверхности бедер давили на губы, зажимавшие клитор, что десятилетиями «спал» вялым в своей ненадобности…

Ноги уже не болели, они дрожали, после необыкновенно-медовой, немыслимой радости-сладости. Чудо свершилось!

Сон завладел ее ослабевшим от наслаждения телом…

Не ведающий ни о чем сон, последний…

Долгожительница

(быль)

Непривычно было впервые в жизни спать на диване, еще и при ночном, фонарном свете из окон. Да и мысли, хоть и радостные, но одолевали, мешая сну. И все никак не могла остановиться, все думала: «Наконец-то дожила, дождалась, недаром столько десятилетий прожила-промучалась! В своем сплю, в собственной квартире, теперь и умереть спокойно можно…» Но тут же вспомнила, как же умирать-то, еще ж сорокалетнюю внучку с детьми прописать сюда необходимо. Не все ж той в большой коммуналке мыкаться среди чужого люду.

Сама Феодосия Афанасьевна родилась за несколько лет до революций 1917 года в селе Тестово Щигровского уезда Курской губернии.

И так ей в свои ранние и в отроческие, и в молодые годы было радостно жить, что улыбка почти никогда не сходила с лица. Крепкая, румянощекая, белозубая девушка с охоткой и работала в отцовском немалом хозяйстве, не только по дому, а и в поле, водила купальские хороводы, плясала на осенних свадьбах, гадала на Рождество… И всегда хохотунья веселилась. Мать обыкновенно Феню (так ее всю жизнь все и проназывали) журила: «Негоже так много смеяться. Смотри, как бы плакать не пришлось». Дочка в ответ

усмехалась, правда позже, десятилетиями, не переставала удивляться тому, что мать, будто «в воду смотрела»…

Веселье враз отступило, когда пришла пора уже не коммун, а колхозов, пора коллективизации…

За что забрали отца с матерью, было непонятно, семья большая, потому и хозяйство было немалое: корова с телочкой, мерин да жеребая кобыла, свиноматка с поросятами, много всякой птицы: куры, гуси, утки… Отец работящий, непьющий мужик, на страду набирал в помощь наемных рабочих, потому как старший сын Семен не захотел работать на земле, а ушел в семинарию. Сказав родителям, Феня сама слыхала, что для него Слово дороже всякой земли, и что он бы вовсе хотел уйти от мира. Девушка было перепугалась братову намерению, да мать ей разъяснила, что первенец ее мечтает о монашестве.

Арестовали не только родителей, но и Семена. Родителей содержали в Курске, а брата в Щиграх. Феня ездила с передачами ко всем к ним, просила соседей присмотреть за младшими — двумя братьями погодками, одиннадцати и двенадцати лет, и за крошечной сестричкой, двухлетней Лидой.

В Щиграх Семен и скончался, от скоротечной чахотки. А мать в Курске вроде того, как с ума сошла, ее и поместили, как говорили, в какой-то дом «для умалишенных», куда нельзя было не только приезжать проведывать, но даже и передач не брали.

Отца определили на высылку в Сибирь, добиться Феня так толком и не смогла, куда же именно. Проводить тоже не разрешили, красноармейцы отгоняли плачущих родственников. Девушке тоже досталось, несколько недель спина болела, после того как прикладом огрели.

И вернулась она к своим младшеньким — сиротам при живых родителях. Из их дома, для нужд колхоза, отобрали почти все, даже Лидочкины пинетки, с ножек ребенка, и те сняли.

Однако Феня не роптала, страх залепил не только рот, но и уши будто бы оглохли, и глаза как пеленой застило. Разве только побывав на сельском сходе, где выступал приехавший из города рабочий, нынешний председатель сельсовета, она словно очнулась: «бежать, бежать с детьми отсюда, иначе и нам…» Ее новое, открывшееся ей знание окрылило, она словно бы наперед уже знала, ч т о и к а к надо делать. И потому не горели стыдом, по обыкновению последнего времени, ладошки от бесконечного хлопанья, во время речей выступавших, и совсем не обидной, а просто смешной, до дурости смешной, показалась частушка:

Ты кулак —
Совету враг,
Полно прятать хлеб в овраг, —
Не вернешь былое время,
Не введешь страну во мрак.

Тот рабочий, что приехал к ним, непонятно почему вошел в Фенино положение и выдал ей необходимые бумаги. Всю последующую свою жизнь Феня по-доброму вспоминала его и думала, что это ж ей сам Господь, через этого незнакомого человека, помог, и что все ж таки мир не без добрых людей…

Выбралась она с детьми в город, да пошла по разным работам. Никакой, даже и самой тяжелой, черной, не чуралась. Руки ее были не только работящими, но и рукодельными, потому приглашали ее в разные дома не только стирать да гладить, но и штопать, шить да кроить, перелицовывать, вязать, делать ремонты, не только побелку, а разные штукатурные и малярные работы… Скорая да спорая, была Феня нарасхват. Дети в школу пошли,

а молчаливая Лидочка нигде старшей сестре не была помехой, и никто из хозяев не жаловался, что Феня сестричку с собой берет.

К тому ж еще и в няньки к хворому мальчишке Жене на пару дней в неделю определилась девушка. А уж Женины родители и помогли ей получить в 1933 году паспорт. Ох, и счастливая ж она тогда была! А уж мальчуган все скамейки в ближнем скверу поисписывал. Феня сквозь слезы читала огромные печатные буквы: «Наша Феня получила паспорт!» — и слова вымолвить, радостная, не могла.

Вскорости, вышла она замуж, за «своего», тоже Щигровского, уроженца. Через год родила двойню, двух дочек. Дали им большую комнату в коммуналке. Все ж их семь душ было, и жили хоть и в тесноте, да не в обиде! Муж был трезвым, рассудительным, жалел Феню, значит любил. И жили они ладно, аж до самого лета 41 года.

Степана, мужа забрали в армию, притихшая Феня проводила его, даже слезинки не пролив. Как тогда, при коллективизации, при проклятом раскулачивании в ней все внутри будто зажалось, замерло, захолодело, занемело… Она даже разговаривать стала с трудом, словно выплевывая слова. А тут еще уговорила ее бывшая хозяйка, Женина мать, муж которой тоже был на фронте, как и Степан, в эвакуацию ехать.

Так оказалась Феня с детьми в Узбекистане. И там, под жарким среднеазиатским солнцем, отошла, точно отогрелась. Санитаркой в госпитале работала, а хозяйка там же врачом. Обе получив похоронки, сблизились еще больше, по-сестрински.

Вернувшись из эвакуации, зажили по-вдовьи, одинокими. Феня поступила на завод, в гальванический цех, там из-за «вредного» производства давали молоко, да и зарплата повыше из-за этого же была.

Взрослые братья, женившись, ушли из семьи. Да и Лидочка в середине пятидесятых замуж вышла в другой город.

А Феня все продолжала трудиться в гальванике. И хоть имела она право уйти на пенсию в сорок пять, да не воспользовалась своим правом, а ушла с вредного производства только, тогда, когда семьдесят три года ей исполнилось. Зато все эти десятилетия она ж не только зарплату получала, а и пенсию! Потому могла и дочерям помогать, денег-то всегда не хватало. И дочери замуж повыходили, и детей родили, снова в их, хоть и в большой комнате в коммуналке, места мало было.

Но вот одна из дочерей, наконец получила жилплощадь, и в эту, уже изолированную квартиру, забрала мать. Стала Феня жить не в коммуналке, а среди родных.

Да вот беда — зажилась она на свете, ведь в квартире жили уже четыре поколения семьи.

Зато у Фени было свое «место» в квартире, хоть и без окон. Это была оборудованная под комнату кладовка, в которой всегда была включенной электролампа. Большую часть дня и ночи проводила Феня в ней. Днем, чтоб никому не мешать, под ноги не попадаться спешащим внукам или ползающей правнучке, сидела она на своей лежанке и вспоминала свою долгую жизнь, и ночью, когда сон не шел, тоже все вспоминала да вспоминала… Давно уж многих из тех кого вспоминала она, в живых не было, а она зачем-то жила да жила… Зачем, для чего, почему? Не знала она, да и никто другой объяснить ей не мог…

В церковь она не ходила, далеко, а в трамвае маленькую струшку, в какую превратилась она, могли, если и не затоптать, то затолкать точно. Да и здесь в темной кладовке были у нее две ее любимые, давние иконки, одна Николая Угодника, вторая Пантелеймона — Исцелителя. На них она и молилась в лихие

годины, когда не дай Бог кто из детей заболевал или какое другое несчастье случалось. Эти иконы унесла она с собою из отцовского дома, из далекого, почти кажущегося нынче несуществовавшим, села.

Не знала она, что нет уже на свете не только братьев, но и сестры Лидочки. Да и хозяйка, ставшая ей сестрою, тоже ушла т у д а, как и ее сын — Женя, некогда от радости, что Феня получила паспорт, исписавший все скамейки в скверу.

«Почему ж Он меня не прибирает?» — наверное ежедневно задавала она себе этот вопрос, а ответа на него не было. Так и проходили дни ее…

И наступило ей СТО!

Вот тогда-то пришли не только из газет и телевидения, но и из райисполкома тоже! И вручили ей ключи, ключи от квартиры!

Оказалось, что к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне всех ветеранов Президент обязал обеспечить жильем! А тут ей столетие подоспело, а она ведь была вдовой погибшего фронтовика, и ветераном труда тыла! Тут ее и начали посещать журналисты да тележурналисты, да оказалась она еще и обычным ветераном труда, проработавшей на вредном производстве более пятидесяти лет!

«Так вот почему не забирал Он меня к Себе!» — думалось ей.

«Вот оно — счастье долголетия!» — сказала она громко сама себе и, прикрыв веки, увидала бегущую румянощекую хохочущую девушку…

У нас в виртуале
или история одной виртуальной «дружбы»

Нина не сразу спохватилась «отсутствием» в Фейсбуке своего френда, может быть, полугодовым, а может, и годичным?! А ведь он был одним из первых ее виртуальных друзей в этой социальной сети, ее единственной и любимой сети, что была ее «окном» в мир. Ведь она уж больше пятнадцати лет, как жила далеко от Москвы, далеко от России.

Волнуясь, предчувствуя нехорошее, она набрала его имя и фамилию. Фейсбук, выдал информацию об отсутствии такого пользователя. «Вряд ли бы он ушел отсюда, просто не мог», — как многие по-настоящему одинокие люди, она чувствовала, каким-то, наверное, «шестым» чувством таких, как и она. И умереть, не дай Бог, не мог, у нее уже за эти годы умерло немало друзей по ФБ, но их странички сохранялись, как если бы они были живы. Было удивительно, что именно они, настоящие одиночки, именно в сети казались особо общительными. И у него, да даже и у нее, были тысячи друзей и подписчиков. Он был деятельно общительным! Значит, он просто напросто заблокировал ее, то есть на инетном сленге — «забанил», так что они не могли не видеть, ни читать друг друга, сами будто мертвые, заживо мертвые…

Она стала вспоминать о нем …

Через сеть он контактировал с огромным числом людей, ему дружественных. И все-то он успевал, и чем и кем только не интересовался! Да сам он был потрясающей личностью, не только потому, что был известным в науке. Нина еле школу закончившая из-за неспособности освоить точные науки, и отучившаяся в гуманитарном вузе, так невеждой и осталась. Потому она с уважением, доходившим до тихого восхищения, взирала на людей из этих областей науки. Ведь это благодаря математике, физике и прочим создалось совершенно иное общество на земле, появились компьютеры и высокие технологии…

Она и с простейшей компьютерной премудростью еле управлялась. И, когда этот человек, на которого она смотрела со своего монитора — «снизу вверх», предложил стать его «другом на ФБ», то она восприняла это предложение, как дар, как милость, как необычайное везение. Он был не просто одним из ее первых друзей, но верным и преданным, всегда откликавшимся на все ее статусы и комментарии. Она, в свою очередь, читая его в ленте друзей, тоже нажимала на кнопку «нравится», стараясь вникнуть и понять то, умное, о чем писал этот человек. Он был в своих высказываниях неожиданным, и всегда следовало стремиться вослед за ним. А для нее это был труд, умственный труд, нелегкий для одинокой женщины на седьмом десятке лет, ведь она была из первого послевоенного, сорок шестого года, поколения…

В ФБ она чувствовала себя комфортно, ей нравилось здесь, она жить уже не могла без ежедневного захода в сеть. Не очень интересовалась она политикой, да та догнала ее здесь, потому что, вдруг, в конце года 2011 года, а точнее с четвертого декабря, в России начались какие-то революционные подвижки.

Когда это или этому подобное происходило в Марокко, Ливии, даже в Египте, то Нина как-то игнорировала эти сообщения в сети, хоть и писали, что эти «революции идут из Фейсбука». Эта арабская, так называемая «Весна», инспирированная якобы пользователями этой сети, не очень ее волновала, так как она ничего не понимала в арабской вязи.

Но то, что происходило в России, напрямую касалось ее. Она стала читать о выборах в Думу, о предстоящих президентских выборах, обо всем, что происходило там. Нина ведь и раньше не могла понять недовольства многих россиян.

Летом следующего года в гости приехала ее старинная знакомая, проживавшая в Питере. Вот ей-то Нина и стала задавать вопросы о том, что же происходит в России, откуда и почему это недовольство? То, что коррупция была почти во всех сферах жизни общества, было понятно и так, про судопроизводство тоже. Но ведь всех изменений можно было добиваться конституционными, законными путями. Когда она своей, с детских лет, знакомой, стала задавать вопросы, то та ничего не смогла ей прояснить, только больше запутывалась и сама она, и Нина.

— Я не понимаю, почему всем нравится Ельцин?! — спросила Нина, — смотри при нем и бандитизм страшный был, так что и на улицу в Москве выйти вечером страшно было. И приватизация, от которой большинству народа было не холодно, не жарко, олигархи появились, почему?! Богачи, нувориши, и миллионы живущие за чертой бедности?! Дефолт в августе 1998 года?! Чеченская война?! Расстрел парламента?! Обогащение своей Семьи?! Семибанкирщина?! А выборы? Ведь, по сути, правил нелегитимный президент?! Я многого просто из-за своих болячек не знаю. В эти годы в больницах Германии валялась, понимала, что жизни мне не гарантируют, но спасти все ж таки спасли. А нынче все удивляюсь всему происходящему в России. Ведь при Ельцине так бы собираться, пошуметь не удалось бы, живо бы расстрелял, и моря крови не побоялся бы. Так вот, я по-прежнему многого не понимаю. Скажи мне, ведь люди лучше живут, чем раньше. И не так скудно, и не так ужасающе бедно, как в девяностые?

— Ты ничего не понимаешь! — раздражалась подруга, — все еще хуже, чем было при коммунистах!

— Как хуже?! — недоумевала Нина, — ведь посмотри, ты уже практически всю Европу объездила, и не только. А раньше ты могла? На зарплату учительницы музыки?

— Замолчи, ты там не живешь, и потому ничего представить даже не можешь! Одни только коммунальные платежи чего стоят!

— Так они же везде очень дорогие, за границей еще хуже. У всех стоят счетчики. На электричество, на воду, на отопление, да практически на все! Тут потому многие ходят в квартире практически как на улице, потому что если отапливать, как мы привыкли, вылетишь в трубу мгновенно. В этом году зимой, к примеру, у англичан отопление будет в среднем за небольшую квартиру полторы тысячи фунтов. И пенсия у россиян нынче неплохая…

— Да мне начхать, что у англичан, вот у нас… — перебивала ее женщина, и снова начинала говорить, о том, как н е в о з м о ж н о жить в России.

— Но ведь, чтоб страна была демократичной, не только власть, но и население должно быть законопослушным…

— Ты что отказываешь населению России в достойном существовании? — истерически почти завизжала та.

Нина попыталась объяснить, что она имела в виду. И привела в пример автомобилиста, нарушившего правила дорожного движения.

— Понимаешь, он должен осознавать свой проступок, как преступный, дело ведь происходит на дороге, а вместо этого он дает гаишнику взятку. Это порочный круг, который следует разорвать с помощью правового воспитания самого общества… — тут Нина увидала, как подруга в знак возмущения демонстративно зажала себе уши.

Так из ее эмоциональных речей Нина не поняла ничего.

Протест она приняла, как и лозунг его — «За честные выборы». Протестанты нацепили на себя белые ленты, как некогда красные. Фотографии в ФБ свидетельствовали, что многие стали ими украшены. «Новые белые» — как шутила Нина. Объявились в этом движении и новые лидеры, на этот раз писатели — Борис Акунин, Дмитрий Быков, телеведущая Ксения Собчак, некоторые другие «публичные фигуры».

Нина в ее житье вдалеке от столицы России не знала, что же думать о многом.. Ориентировалась на своих виртуальных друзей, уж им «на месте» все должно было быть ясно. Однако смущала ее Ксения Собчак. Примерно год назад слушала Нина в интернете ее интервью тому же Дмитрию Быкову на одной из его передач. И поражалась, ведь тогда она собственными ушами слышала, что когда Быков что-то спросил у нее по поводу президента, то она отказалась отвечать, мотивируя тем, что он был и остался самым верным другом ее покойного отца и ее семьи. Что ж теперь-то она выступала против него?!

Многие из виртуальных друзей, погруженные в себя, в свою науку, в собственное творчество, если и откликались на текущие события, то кто-то с легким раздражением, а кто-то даже с нежеланием об этом говорить…

И этот «друг» был из их числа, он тоже все повторял, что каждому следует заниматься своим делом.

Но акции протестантов с декабря переползли и в следующий год, и весной были они, и даже летом…

Теперь в ФБ звучало: «Мы были на Болотной, и придем еще», были «Марш миллионов», «Народные гулянья», «Оккупай-Абай», «Контрольная прогулка» — от Пушкинской площади до Чистых прудов. Везде впечатывалось, как эпиграф, высказывание Абая Кунанбаева: «Лишь бездарный покоряется судьбе» Это повергло фаталистку Нину в размышления, если судьба, то будь ты ей покорен или нет, от этого ничего не изменится. Но даже через светящийся компьютерный дисплей она чувствовала воодушевление, охватившее людей.

И в риторике этого ее, особо ценимого, друга тоже зазвучали иные нотки. Как оказалось, он тоже был из тех, кто «был на Болотной, и придет еще».

Но теперь на его «стене» в сети не было уже разговоров, ни о чем, только и исключительно, о Протесте.

Время шло, и постепенно все это напряжение стало спадать, стихать. Эдуард Лимонов написал, что лидеры Протеста «слили» его. Что необходимо было не идти на Болотную площадь, куда они повели людей.

И по-прежнему Нина не могла разобраться, кто прав, а кто нет, потому и молчала. Продолжая читать написанное, всматриваясь в комментарии, вглядываясь в отметки «понравилось»…

Она и не помнила, когда задала вопрос, оказавшийся роковым, ему, этому другу.

— Как настроение? Что будете делать дальше, за кого будете стоять и что отстаивать?

И, получила ответ. Это был, как теперь вспомнила она, его последний ответ.

— Я вот как-то шел к памятнику Абаю. Договорился о встрече с одними людьми. И внезапно понял, что ничего у нас, у протестантов, не получается, а может, и не получится?! Во мне что-то всколыхнулось, даже в глазах потемнело! Слава богу, не появился передо мною мент, а то бы я, наверное, бросился душить его. Со мною никогда в жизни подобного не случалось, я подбежал к уличной урне с мусором и носком кроссовки врезал по ней. Она опрокинулась, оттуда вывалилось что-то сгнившее…

Нина налила в стопку водки. Болезненная, она обыкновенно пила ее, если продрогнет на улице, чтоб не простудиться.

Выпила, давясь мягким «Абсолютом», как бывало с нею только на поминках.

Борис ХЕРСОНСКИЙ

МЕССА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
MISSA IN TEMPORE BELLI

1. KYRIE

Помилуй нас, Господи,
если Ты за нас, то кто же на ны?

Помилуй нас, Христе,
особенно, если наши часы сочтены.

Помилуй нас, Господи,
особенно, в дни войны

Kyrie eleison.
Christe eleison
Kyrie eleison

2. GLORIA

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.

Слава в вышних Богу — дивны дела Твои!
Слава в вышних Богу и на земле — бои.
Слава в вышних Богу — не тревожьте солдат, соловьи!

Слава в вышних Богу, и на земле — тела
с раскинутыми руками. Воля людская зла.
Впрочем, она такою всегда была.

Славим тебя, солдат, тонкая шейка, острый кадык.
Благословляем тебя, солдат, поднявший врага на штык,
Превозносим твой долгий предсмертный крик.
Бог бывает жесток, но лучше земных владык.

Благословляем вас, господин генерал,
славословим вас, господин Президент, который нас обокрал,
неужели это для вас Господь смертию смерть попрал?

Есть! — говорит генерал — рука к козырьку.
Он давал присягу всегда подчинятся царьку.
А царек-то взлетел на ветку, кричит ку-ка-ре-ку!

У него золотой гребешок, и бревно — в каждом глазу.
Славься в вышних, Бог, не гляди, что у нас внизу.
Пуля — дура, штык молодец, удар — и нет молодца.

Со Духом Святым, во славу Бога-Отца.

Аминь.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.

Amen.

3. CREDO

Я верю, что Бог един,
Он сам себе Господин.
Он — мир, который Им сотворен,
Он — свет, которым свет озарен,
Он Ветер, что наполняет полотнища боевых знамен.

Вылетают ракеты из черных бетонных дыр.
Так незримый мир поражает видимый мир.

Я верю, что этот Бог был воплощен во Христе,
и был распят на кресте в скульптуре и на холсте,
вне времени, но во времени, вне пространства, но на холме,
между двумя разбойниками типа земля-земля.
Но если жизнь — это море, Христос стоит на корме,
направляя движение вселенского корабля.

У корабля сотни тысяч пушек на каждом борту.
Не представляю, как он причалит в райском порту.

Христос говорил: не мир я принес, но меч,
и с ним — возможность мертвыми в землю лечь,
но сыграет побудку архангельская труба,
и отворятся гроба.

И скелеты поднимутся, и у всех на виду
обрастут мускулатурой, а вот и кожный покров,
и по полю боя пройдут, как будто в бреду
всегда, во веки веков, во ветры ветров,
в окопы окопов, во траншеи траншей,
где раньше вповалку лежали — кормили вшей.

И вши росли до размеров колхозных-тифозных коров,
и танки урчали не хуже бронированных тракторов.

4. SANCTUS

Свят, свят, свят, Господи, Боже сил!
Иными словами — Бог небесного воинства, или небесных светил!
Ты вышел с нами на бой, Ты врага за горло схватил!

Ты наполнил землю и небо славой Твоей, как кувшин вином.
Ты позволил миру перевернуться вверх дном.

Осанна в вышних! Встретимся в мире ином.

5. BENEDICTUS

Благословен, грядущий во имя Господне в благословенное,
страшное время, смутное время, время военное.
Благословенны идущие строем, каждый будет героем,
троекратный залп, и мы их в землю зароем.

И снова — осанна в вышних! Осанна в вышних!
Чем дальше в бой, тем меньше героев лишних.

6. AGNUS

Агнец Божий, Сыне Отчий, от Света истинный Свет,
Агнец Божий, Спаситель созвездий, звезд и планет,
Агнец Божий, собою венчающий иконостас,
Агнец Божий, помилуй нас.

Агнец Божий, который людей избавил от смертных уз,
Агнец Божий, понесший нашей вины непомерный груз,
Агнец Божий, считающий и прощающий каждый грех,
Агнец Божий, помилуй всех.

Агнец Божий, ягненок, положенный на алтарь,
настало военное время. От земли поднимается гарь.
Дай нам мир, мы сыты вечным огнем.
Мы снова войну начнем.

Dona nobis pacem. Amen.

Максим ЛАВРЕНТЬЕВ

НОВЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПОЭМЫ

БЕДНЫЙ ГОЛИАФ

Сколько лет стишки мараю,
а читателя все нет.
Не пора ли мне моралью
подытоживать сюжет?
Одномерно, четко, просто.
Ясно даже для телят.
А иначе — только проза.
Время нечего терять.

Мы не будем долго рыться
в откровеньях Книги книг.
…Жил на свете бедный рыцарь
Голиаф — герой, мужик.
Он ковбоям из Канзаса
надавал бы по рогам.
Великаном он казался
перепуганным врагам.
Ростом парень хоть и вышел,
что ж бежать, поджав очко?
Голиаф наш был не выше,
чем какой-нибудь Кличко.
Лишь в политику соваться
не желал простак атлет.
«Кисло с вами тусоваться», —
говорил, скривясь, в ответ.
Говорил: «Кидалы правят,
нагибавшие народ».
Но когда войну объявят,
выступал тотчас в поход.
Супостата гнал пинками
аж до Вавилонских врат.
Шел, увешанный венками,
с берегов реки Евфрат.
О его победах песни
залетали даже в глушь.
Нет, не силой всех известней
стал могучий этот муж.
Уложить врага на месте
Голиафу ерунда —
он священный кодекс чести
не нарушил никогда.
Утром вылез из палатки —

сразу звать врага на бой.
Джеки Чаном не был в схватке,
не орудовал ногой.
Знатных пленников и пленниц
не лишал последних прав.
Словом, сущий был младенец
благородный Голиаф.

Благородство это боком
вышло славному бойцу.
Некий шкет, любимый богом
лишь за то, что ел мацу,
принужденный то и дело
на лице давить прыщи,
поступил чертовски смело —
кинул камень из пращи…
А теперь мораль, дружочек,
в духе тех и этих дней:
против гордых одиночек
запасись мешком камней,
или стрелами с отравой
поражай издалека,
и тогда твой зад вертлявый
будет цел наверняка.

12 января 2014

ЖИГАН И БЛОНДА

По мотивам рыцарского романа Филиппа де Реми

1

Прямо в центре кубанской станицы,
там, где прежде и храм был, и клуб,
во дворце, подходящем столице,
жил с семьей атаман Казолуп.
Двух братьев засосала трясина —
застрелили обоих менты,
и осталось у батьки три сына —
три надежды его, три мечты.
В память предков, пшеницу моловших,
дувших в путь босиком по траве,
он хотел, чтобы двое молодших
депутатами стали в Москве.
Обеспечить же связь поколений —
так наметил давно атаман —
должен был его старший, Евгений,
по прозванию Жека Жиган.

2

«Будя, сынко, тут корчить доцента!
Что читаем? Незнанского? Брось.

Отправляйся немедля до центра —
не такое узнаешь, небось.
У меня там дружок закадычный,
сам “в законе”, мужик ничего.
Передашь ему ящик “Столичной”
и поступишь в бригаду его.
Друга кличут Малюта Казанский —
сын когда-то в Казани погиб».
…Распростились они по-казацки.
Сел Жиган в бронированный джип.
На холме тормознул, озирая
крыши, реку, леса и поля,
и рванул из родимого края,
по разбитым дорогам пыля.

3

Через год, укокошив Бакинца,
разобравшись с Тамбовским Лукой,
у Малюты Жиган, вроде принца,
стал наследником, правой рукой.
Охраняет семейные фонды,
ловок, набожен, смел, — потому
руку дочки единственной, Блонды,
обещает Малюта ему.
Но не все в королевстве спокойно,
есть один неприятный момент:
обнаружен упавший с балкона
предыдущий такой претендент.
Говорят, что замешан тут Гиви,
не браток, а цивильный бандит.
Торговал он бананами, киви,
а теперь в префектуре сидит.

4

Наш герой, заработавши проседь,
разобрался, однако, с врагом.
Перед тем, как в бетон его бросить,
по старинке пожег утюгом.
И признался тот в ревности пылкой
к тем, кто взгляды на Блонду бросал.
И за это, страдая под пыткой,
все имущество ей отписал.
После свадьба была в «Метрополе» —
Басков, Бабкина, табор цыган.
В непривычной, но радостной роли
рядом с Блондой — красавец Жиган.
А за длинным столом, где путаны
мечут взоры в законных овец,
Казолупы сидят — депутаты,
и, конечно, их старый отец.

5

Вот такая история, детки.
Ну-ка все повторим это вновь:

«Движут миром не жалкие деньги,
а великое чувство — любовь!»

16 января 2014

РОБЕРТ ЗВЕРЕВ

Из легенд о Роберте-Дьяволе

1
Мальчишка Зверев, Роберт,
в соседнем доме жил.
Все делал он, как робот —
ходил, и ел, и пил.
Сидел со мной за партой,
не слыша ничего,
но не были запаркой
задачки для него.
Как выяснилось вскоре,
имел одну он страсть —
над малышами в школе
поиздеваться всласть.
Порой, ограбив крошку,
в экстазе убегал.
А голубя и кошку
спокойно убивал.
Когда его за это
назвал я палачом —
решил он для ответа,
что хочет стать врачом.
Действительно, пытался
попасть в мединститут,
покуда я метался,
учась то там, то тут.
Он дважды был отчислен,
пошел работать в морг.
Но не служить Отчизне
по возрасту не мог,
и в девяносто пятом
пропал надолго с глаз —
отправился солдатом
на Северный Кавказ.

2
Под храмом на Волхонке
устроен зал большой —
там продают иконки,
поет Анита Цой.
Не из духовной жажды
я вдруг туда пришел,
а просто был однажды
на вечер приглашен.
Стишок я старый штопал,

гремел казачий хор,
когда в меня, как штопор,
вонзился чей-то взор.
Хоть непривычен глазу
и люден темный зал,
но Роберта я сразу,
конечно же, признал.
..А через час в кафешке
сидели за столом,
под пиво и орешки
трындели о былом.
Уже немного пьяным
я рассмотрел его:
во взгляде оловянном
все то же — ничего.
По-прежнему, как робот,
жевал и говорил.
Теперь, однако, Роберт
мне стал внезапно мил.
Во всем ему поверив,
я вспоминал не раз,
то, в чем признался Зверев.
И вот его рассказ:

3

«Я с детства был уродом —
таким родила мать.
Крепчало год за годом
желанье — убивать.
Вчера еще хватало
зверей и птиц вполне,
теперь казалось мало —
росло и голодало
чудовище во мне.
Работать начал в морге,
но быстро охладел.
Мне нужно крови море,
живых потребно тел!
И вот я, как на ужин,
подался на войну.
Был ранен и контужен
и год провел в плену.
Вернулся в меру сытым,
пытался завязать,
стал жить с женой и сыном.
Догадывалась мать,
в какой такой бригаде
работаю, и кем,
просила бога ради
забыть ее совсем.
Однажды я случайно
мальчишку застрелил.
Тогда открылась тайна
во мне сокрытых сил.

Призналась мать-старуха,
пустив опять слезу,
что зачала от духа
на кладбище в лесу.
…Раздал я деньги нищим,
в селе построил храм,
обрел, что все мы ищем,
слетав к Святым Местам.
Поверь, за божью милость
и это не цена.
Вся жизнь переменилась:
я нынче — меценат».

19–20 января 2014

Вальдемар ВЕБЕР

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

* * *

Прошел ливень.

Попадали вишни.
Утром налетели дрозды,
склевали их без остатка.
Вопрос,
зачем я выращивал вишни,
на который ответить
не хватило бы целой жизни,
отпал сам собой.

2012

* * *

Раздевая женщину,
ощущаешь все свое несовершенство.
Перед таинством происходящего
твои прикосновения
всегда грубы.
Каждый раз
страх разочароваться,
о нет, не в предмете обожания —
в себе самом.

1995

НА КЛАДБИЩЕ

Ах, сколько здесь бабочек!
Этому мальчику с трикотажным сачком
непонятно, почему его бабушка с дедушкой
так долго стоят с печальными лицами
над этой серой плитой
и почему здесь нельзя бегать,
смяться и громко разговаривать.
Зачем же тогда он взял с собою сачок…
Погнаться б сейчас
вон за той голубянкой,

как раз ее не хватает
в его коллекции.

2005

* * *

Ноябрьское солнце распаляется только к полдню.
Ценить каждый новый день,
прислониться к его крутым перилам,
умудриться не сорваться
в пучину окружающей черноты…

2013

* * *

Мертвые рыбы
уплывают вместе с теченьем.
О, со сколькими мы
успели уже попрощаться!

1989

* * *

Друзья умирают
или предают.

2000

ИСКАТЕЛИ ЗЕМНОГО РАЯ

Всегда оказывается,
что на борту, как у Колумба, —
сброд, мародеры
с их собственными представлениями
об обители блаженных.

2002

* * *

Против коварства
нет противоядия.
Утешенье в одном:
победив,
оно не знает,

что делать
со своей победой.

2002

НА ПОСЛЕДНЕМ ОТРЕЗКЕ ПУТИ

Мертвецы выходят к обочине дороги,
зовут в темноту,
к своему костру,
побеседовать по душам.
Но их костер не греет,
я мерзну,
а им хоть бы хны,
им что ветер, что дождь.
Не выходит у нас разговора.

2005

* * *

Смерть,
учительница жизни,
чересчур строгая,
чтобы быть любимой,
но умеющая внушать уважение.
Стыдно до смерти
приходить неподготовленным
к ее урокам.

2005

* * *

У преходящего
язык без костей.
Вечное
косноязычно.

2008

* * *

Каждый раз,
когда летишь в самолете,
хочется начать новую жизнь.
Но стоит приземлиться,
и ты снова во власти
силы притяжения суеты.

2009

* * *

За воротами неизвестность.
Но остаться — никакой возможности.
Здесь сроков не добавляют —
что бы ни совершил.

2008

* * *

Полдень. Эпогей дня, достигнутый стараниями трудного утра.
Но эта предательская дрожь в коленках!

1994

* * *

О сколько покоя в этой смене
прилива и отлива,
в этом спасительном поспешании назад.

1994

* * *

При известии о гибели коллеги
вдруг вспомнил,
как тот на днях огорчился,
обнаружив на автостоянке
царапину на своей машине…

2006

Бека КУРХУЛИ

ПУСТАЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

Судьба пересчитывает свои раны,
подобно пересчитывающему пиастры пирату...
Баадур Баларджишвили

Это было время, когда день и ночь сменяли друг друга, как сигналы тревоги. Каждая минута требовала своего, отпечатываясь крадущимися волчьими следами. Жизнь и смерть странным образом преобразились, стали одинаково невозможными и недостижимыми. А переплетающиеся истории старых побед и поражений теребят покой до сих пор, возвращают назад, словно, убегая, ты где-то выронил свой талисман.

Тбилиси пока оставался самим собой. Было трудно и в то же время легко все понимать. Затемненный, истерзанный город, взбунтовавшись, совершил харакири, подобно потерявшему хозяина самураю, и весь окровавленный сорвался в собственное ущелье.

В этом тоже не было ничего необычного. В разгоревшемся пожаре отражался тот, другой огонь, в течение многих веков дрожавший над городом, его улицами и домами, его сыновьями, которые шли сквозь пламя с гордо поднятыми головами. Многие погибли, кладбища переполнились... Однако все было настоящим и до прозрачности ясным. Потом вернулись эти шакалы, перекрасив все на свой лад. Их было немало... Такие не способны пройти сквозь огонь и ненавидят запах дыма. Они подобрали окровавленному самураю макияж гейши и обрекли на существование в таком виде. По тбилисским улицам тогда не ходила толпа глуповатых туристов в босоножках и с рюкзаками, а сам город не вызывал ассоциацию с дискотечным залом, освещенным светомузыкой... Бушевал огонь, из которого не переставая выходили молодые парни, чтоб поспеть в могилу и унести с собой останки сожженного ими же города. А вместо них набежали эти «one, two, three, four...» со своими бутиками, вечеринками и прочим пустодельем...

Горело сильно. Ну и пусть хотели, предполагали, а не вышло. Ну и пусть проиграли, зато все было ясно и очевидно...

Сражались. Воевали. И погибали.

Воздух наполняли звуки выстрелов. Он сидел дома, смотрел телевизор и пил компот, радуясь тому, что находится не на улице. Зазвонил телефон. Это был не кто иной, как N, хотя, например, Чехов называл так исключительно города... «В губернском городе N...».

— Это я, — сказал он.

— Да...

Какое-то время он молчал, словно переводил дух. Потом вдруг выдал:

— Пойдешь на дело, если что?

«Если что»... Это было как раз в его стиле и означало: неделю назад около метро «Исани» его хорошенько стукнули по голове и сняли с него куртку зятя. Как только он пришел в себя, сразу стал соображать, как бы с ними поквитаться, хотя не мог вспомнить их лица. Так вот всегда: выйдет из дому ночью, вдрызг

пьяный, то сам отнимет, то у него отнимают. N любил это занятие, а еще Джойса и Фолкнера, любил покурить травку, «Мастера и Маргариту» и Мераба Мамардашвили. Пусть Азазелло или Джойс и пошли бы с ним на ограбление в декабрьский мороз, когда пули, обгоняя одна другую и неожиданно залетая в переулки, заставали человека с грустной улыбкой на лице и тоской в сердце…

И кому все это было нужно?..

— Слышишь? — спросил он.

За окном ночь решетила выстрелами город.

— Да. Ну и охота тебе? Подстрелят, там же и подохнем.

— Мне куртка нужна!

— Будет трудно. Не выйдет. Забудь ты про эту куртку, хрен с ней…

— Ни за что, нет. Один пойду… достану.

— Ребятам звонил?

— Они отказались идти…

— Вот видишь? Где Зезва?

— Его нет в городе, уехал куда-то. Никто не знает, куда, даже он сам. Ты же его знаешь…

Теперь город решетил выстрелами ночь.

— Слушай, погода мерзкая, стреляют… Не застрять бы где-нибудь… навсегда.

— Не застрянем. Ты же у нас фартовый. Вообще-то, если не хочешь, не ходи, я один все сделаю сегодня ночью…

— Клятву дал, что ли?..

— Да, поклялся вернуть куртку!

— Ладно, я с тобой!

— Уверен?

— Да.

Какое-то время он оставался стоять посреди комнаты. Потом выключил телевизор, надел куртку и вышел из дома.

По улицам неистово летали шальные пули, проносясь мимо с резким, холодящим душу свистом. Этот свист слышался со всех сторон, как будто хулиганы буянили на ярмарке. На улице Пекина прогрохотал выстрел. Не из автомата. Автоматная очередь ритмично стучала со стороны улицы Долидзе, словно выбивая такт мелодии и кайфуя от этого. Потом опять ударило до Пекина, на этот раз как-то посерьезнее, глухо, усердно кашляя: кх-кх-кх!..

В метро стоял трупный запах. Он посмотрел на часы: было около половины двенадцатого. Перемешанная толпа людей, подобная подхваченным волной песчинкам, была похожа на огромного бесформенного зверя. Беспомощного, но в то же время жестокого. Все там были на одно лицо и испуганно таращились друг на друга. Слышался тихий гул голосов.

В вагоне образовалась жуткая давка, можно было продержаться, не касаясь пола и подогнув под себя обе ноги.

На станции «Марджанишвили» погас свет. В темноте кто-то залез к нему в карман и довольно долго шарил по нему рукой.

— Есть сигареты? — тихо спросил он у карманника.

— Есть, — так же тихо ответил тот, вынув руку из его кармана и переместив ее в свой. — «Астра».

— Сойдет.

Было очень темно. Он нашел на ощупь его руку и взял сигарету.

Дали свет, поезд тронулся. Он зажег сигарету, поднимаясь по эскалатору. На выходе из метро стояло около 15–20 полицейских, одетых в синюю форму. Ни до, ни после этого он больше не видел такой полицейской формы. Это были крепкие молодые парни, затянутые в бронежилеты, с новенькими АК-74 за плечами. Некоторые из них держали автоматы наперевес.

В выжидающей тишине что-то прохрипела рация. Полицейские сразу выстроились в ряд, один за другим вышли из метро и исчезли в ночной тьме.

На улице стоял сильный мороз. Декабрьская ночь коварно затаилась. Эхо от далеких выстрелов звучало глухо и угрожающе.

Он глядел на улицу, глубоко втягивая воздух раздувшимися ноздрями, и старался прислушаться к своему внутреннему голосу.

И вот: пришло… Так бывало почти каждый раз перед делом. С какой-то дикой радостью он почувствовал, как нахлынуло это очень знакомое и родное ощущение, заполнив его, словно обойму патронами. И всему этому сопутствовало нечто еще более знакомое и близкое — чувство страха!

«Пошли!» — сказал он сам себе и стал спускаться вниз по улице. Прибавил шагу. Совсем близко протарахтел автомат. Пули одна за другой полетели в сторону Метехи. Звук выстрела еще больше подстегнул его азарт: «Ты не жди, купец, подмоги… *Мы — ребята битые, во болотах мытые*». Он чуть ли не несся, наклонясь вперед и противостоя морозу, воздух приятно щипался. «Ну, держись!.. Сегодня ночью гуляем, город наш!» — подумал он, и, улыбаясь оледенелой улице, свернул в темную арку.

N сидел на крыльце своего подъезда и курил.

— Куда ты пропал? Я волновался…

— Застрял в метро. Там прямо у выхода наткнулся на целое подразделение ментов с автоматами и рациями. Сам же знаешь, что это безумие… Поймают — грохнут, глазами не моргнув.

— Мне куртка нужна!

— Ладно, как хочешь. Где наш ствол?..

— Отдал Нодару для починки. Барабан же заклинивало.

— Не проблема. Нам все равно нужно только на один раз. Иди возьми у него.

— Его нет, он уехал в деревню.

Сначала он подумал, что все отменяется и вздохнул с облегчением. Но потом догадался, что дело обстояло еще хуже.

— Да?.. И что будем делать?

— А вот! — и N достал из-за ремня два блестящих искривленных ножа.

Острые лезвия насмешливо блеснули белым светом. Он смотрел на N сквозь темноту и глупо посмеивался.

— Ни фига себе! Ты, что, Али Баба?

— Устроим засаду в нашем месте…

— «Наше место теперь в граммофоне», как сказала бы моя девушка. Нас же разденут до трусов… Холодно, Валик-джан!..

N тихо, напряженно рассмеялся.

— Мне же куртка нужна!

В этом был весь он. Вот так вот всегда: обломается, и все. Если скажет что-нибудь — с таким блатным нагаром, будто только что дал пинка самому дону Сальваторе Риина, которого сицилийцы прозвали «Тото».

— Ладно. Пошли!

N шел со скорченной рожей. Он был очень зол, на затылке у него виднелась рана с запекшейся кровью.

Все вокруг было взбудораженным и опасным, слишком опасным. Прежняя восторженность прошла. Они шли друг за другом с отчаянными и воодушевленными лицами, не говоря ни слова и настороженно вглядываясь в ночную тьму.

От напряжения у него подергивался уголок рта. Потом вдруг ему надоело бояться и молчать.

— Говорил же тебе…

N недовольно взглянул на него.

— Что?

— Хватит, прекрати это делать…

N сдавленным от внезапной ярости голосом спросил:

— Ты что?..

— Сколько раз я тебе говорил: не читай книг этого долбанутого близорукого ирландца. Никак не возьмешь в толк. И что особенного он мог написать, почти слепой, не видевший дальше двух шагов, не любивший женщин и не желавший жертвовать собой ради родины… Пусть, говорит, родина жертвует собой ради меня… Не сомневаюсь, это все его влияние, из-за него ты слетел с катушек…

— «Улисс» — самая крутая книга в мире!

— Да пошли вы оба!.. И он был шулером, и вы все тоже блефуете, притворяетесь, будто понимаете… Как там у него: «сопливо-зеленое море»?..

— А ты дальше «моря» и не читал, чего рыпаешься?

— Я, что, по-твоему, дурак, чтобы читать еще — после сопливого моря? Нет уж, спасибо!..

— А может, у ирландцев море такое, ты же не знаешь, не видел, а возникаешь…

— Море всюду одинаковое. Иногда примешивается цвет морского дна, неба, затонувших кораблей и погибших моряков.

— И цвет рыдающих на берегу шлюх, спавших с теми моряками.

— Круто! Повезло ему, а то разве справедливо, что он считается гением, а мы бегаем тут с кухонными ножами?..

Тем временем они подошли к длинному решетчатому забору. Темнеющий за ним густой сад был полон теней от деревьев. Это был волшебный сад: зайдешь одетым — выйдешь раздетым, и наоборот. Внутри стояло одно из известных зданий. В то время почти каждый пассажир, опоздавший на автобус, направлявшийся в Ортачалу, укорачивал себе путь через этот сад. Безопасность зависела от расстояния, которое нужно было пройти: чем больше шагов ты делал, тем больше увеличивались шансы напороться на неприятности. Идти ночью садом было не так опасно, как по темной улице, находившейся рядом: из сада выходили живыми, хоть и раздетыми, а на улице могли прикончить прямо в одежде.

Теперь и сад, и находящееся в нем здание кто-то купил, построив такой огромный забор, что там уже ни укрыться, ни путь укоротить, и ни куртку достать. А тогда это был их сад, их территория.

Они затаились у корней двух скрещенных деревьев. Он сидел на корточках и быстро, беспокойно, курил. Никто не появлялся.

— Слушай! — позвал он его почти беззвучно. — Кинь мне нож!

— Что случилось?

— Кидай!

— Зачем?

— У одного из нас руки должны быть свободны. Кельтская мода.

Послышался легкий звук броска. Нож упал у дерева. Он положил его в нужное место, потом опять заскучал. Сидел и думал. О многом и ни о чем. Вокруг стреляли. Словно пытались соединить концы чего-то давно порванного. Стрельба — единственное спасение, когда понимаешь, что твой сон или пробуждение, уход и возвращение ничего не меняют, когда минувшие годы виснут на шее, опасные, как чужие жены, когда остается все меньше шансов выбраться, освободиться и, несмотря на это, упрямо потрясаешь в воздухе длинной лапой с выпущенными когтями. Воздух всегда пуст. После каждого выдоха, на секунду уцепившись за собственный прыжок, думаешь, что спасен и забываешь, что — не только в твое сопливое время — уже третий век неизменным гимном твоей страны является: «Если настоящее не милует, будущее принадлежит тебе…».

Постепенно начинаешь все понимать, ничего не понимая и продолжая потрясать в воздухе лапой, чтобы тебе не обрезали когти большими ножницами. И в то же время все не совсем так, как выглядит, выглядит же — как надпись на дверях хинкальной Джурхи: «Кормить в кредит будем завтра», хотя на самом деле там всегда можно было поесть в кредит. Он промазал 2–3 таких прыжка, что мог навсегда застыть в воздухе, но выжил. Сидя под ночным деревом с двумя ножами, он видел, как неумолимый и вымазанный в грязи рок постоянно преследует его, улыбаясь и деловито поджигая окровавленное пространство, словно бессарабский дворник, зажигающий газовые фонари на улицах Вены. Почти невидимый и незаметный, рок шел за ним по пятам, и ничто не могло его спасти.

Стало еще холоднее. Он посмотрел в сторону улицы, пешеходов там уже не было. Когда сидишь дома, опасность кажется намного больше. Выйдя на улицу, ты сам становишься опасным.

Ему захотелось вернуться домой. Никто не появлялся, никто не спешил в Ортачалу, и звуки выстрелов тоже раздавались изредка, стреляли как бы между прочим и лишь ради выполнения долга. Было ощущение, что город защищают от злых духов.

Он вспомнил отца. Наверно, тот тоже не спал. Ночью не спал, а днем дремал, сидя в своем кресле, огромный, перенесший инсульт, одноглазый. Отец и сын были очень похожи друг на друга, одинаково неуправлямые и безрассудные, с одинаковыми лицами, одинаково неправильным образом жизни и ощущением, что все вот-вот закончится. Оба пленники, равнодушно ожидающие конца и последнего суда, полностью опустошенные и сдавшие собственное безрассудство, как оружие. Они знали, что не заслуживают ничего хорошего, но очень любили друг друга и, как все разделившие одну участь отцы и сыновья, с трудом терпели взаимное присутствие. Им нечего было сказать друг другу, все и так давно уже было ясным и очевидным, прошлое, плохое прошлое, все поглощало, а сидеть молча было еще хуже, больнее и громче… Нервы напрягались до предела, он сидел рядом в «своем» кресле и через открытую балконную дверь смотрел на чужие дома. Они чувствовали глаза друг друга, даже не глядя в них. Оба потеряли все. Все, что было для них дорого. Потеряли вместе и каждый отдельно, навсегда и без оглядки на прошлое. Жизнь их покатилась к чертовой матери. А теперь они сидели и смеялись над своими фирменными глупыми шутками, словно ничего и не было, или, насупив брови, хранили молчание, подобно бойцам, предпринявшим яростные атаки, которые закончились тем, что кто-то поумнее и пошустрее все утащил прямо у них из-под носа, да еще и утвердив это документом со множеством печатей, дескать, все исконно ваше и родное на самом деле давно принадлежит нам…

Оба, отец и сын, винили в этом друг друга. И молчали они по той же причине. Потом не выдерживали, и начинались несмелые попытки начать разговор, что раздражало их еще сильнее. Отец старался поймать взгляд сына, у обоих один глаз был больше, чем другой, и наконец встретившись взглядом, они почти одновременно начинали орать… Когда они сердились, большой глаз уменьшался, а маленький — увеличивался. Так и сидели — глаза в глаза, разъяренные, потеряв рассудок от злобы. Потом отец бросал в него очередную вазу, и у обоих маленький глаз становился меньше, а большой — еще больше. Тогда парень убегал из дома, и каждый раз при выходе из комнаты на глаза ему попадалась фотография деда, который тоже был очень похож на них и имел один большой глаз, другой — маленький. Только это фото не вызывало раздражения и беспокойства. Дед тоже смотрел на них спокойно и пристально.

Сбегавшего по лестнице, его нагонял голос отца: «Поешь, поешь хотя бы, твою мать…».

Поблизости послышался шорох. N тихонько приблизился и сел рядом.

— Никого не видно!

— Да.

— Перестреляли их всех, что ли?

— Наверно.

В мерзлом небе висела лишь одна звезда. Луна примостилась у них за спиной и старалась хоть что-нибудь разглядеть.

— Я замерз!

— Помнишь, «Ледяную колыбель» — мы еще в школе учили?

— «Соленая колыбель»…

— Ледяная… Спорим?

— Соленая. Проиграешь.

— Ты заметил, что в тишине холоднее?

— «…Наверно, жить не стоит, и царит тишина покинутого сада»…

— Ого! Это Галактион?

— Кажется, точно не помню. Кто-то из них: «И я молчу, словно мумия…».

— Ого!.. Пойду куплю чего-нибудь… Чтоб я молчал, словно мумия…

— Купи водку.

— Нет, мы же в деле.

— Одна бутылка дела не испортит, мороз ведь, будь человеком!

N пролез через забор и исчез.

«Тьфу-ты, чтоб тебя… Достал уже с этой курткой зятя придурка.»

Большая звезда все еще висела на небе в полном одиночестве.

N быстро вернулся.

— Открывай, — сказал он и сунул ему в руки ледяную бутылку.

— Что это?

— Шампанское «Царица Тамар».

— Может, дать тебе «царицей» по голове?.. А Давида Нарина не было?.. Купил бы водку, согрелись, потерпевшему бы тоже предложили…

— Мы в деле! — N, приложив бутылку к губам, сделал глоток. Его пробрала дрожь — И правда холодная.

Они пили холодное шампанское в декабрьский мороз и хрипло смеялись.

— Вот бы сейчас оказаться в какой-нибудь из теплых стран, где большое жаркое солнце…

— Во Флориде… Майами, пляж, забитый длинногими и голыми девушками… Гуляй в свое удовольствие…

— Даже не верится, что такие места на самом деле существуют.

— И мне не верится. А ведь есть.

Может, были, а может и нет.

— Для меня их не существует. Мы туда никогда не попадем.

— Ну и хрен с ним!.. Не стоит расстраиваться из-за этого, брат, вспомни бессмертного Гарри Моргана, бутлегера, спасшего 12 китайцев и задушившего голыми руками того поганого мистера Синга, предавшего этих, своих же, китайцев, бессмертного и потерявшего руку после другого дела, Гарри Моргана, который и с одной рукой справился с четырьмя кубинскими гандилами-революционерами, а потом плашмя лежал на полу лодки бармена Фредди — «Королевы Кончей» с тремя пулями в животе, скармливая свою кровь морским рыбам… и все равно он цеплялся за жизнь!.. Это же как раз было во Флориде? В Ки-Уэсте…

— У него же еще была некрасивая жена. Толстая, крашеная блондинка. Очень некрасивая и крутая… «О, Господи, это лицо, это проклятое лицо, каждый раз, глядя на него, мне хочется плакать…».

— Моя девушка, жившая на улице Белинского, тоже так говорила каждый раз, когда мы ругались, покричит, а потом вдруг — «Мое лицо!..»

— Кстати, куда она подевалась, эта твоя девушка?

— Замуж вышла. Т. е. пока еще нет, но скоро выйдет. Через две тысячи лет все мои девушки выйдут замуж и будут жить долго и счастливо… Только я буду вечно попадать в разные заварухи.

На восточном горизонте пролегла белая полоса. Она потихоньку ползла вверх.

Светало. Никто так и не появился.

— Никого не видно, — сказал N.

— Караван так и не вышел из Дамаска…

Та единственная звезда потихоньку растаяла. Наступало утро, ледяной воздух дал трещину.

N вдруг схватил его за руку.

— Кто-то идет…

Он уставился на забор. Со стороны Ортачалы показалась тень.

Они сидели и ждали, когда тень пройдет мимо дерева. «Может, показалось?» — подумал он.

— Может, нам показа…

— Тш-шш!..

Длинная тень поравнялась с деревом и прошла мимо него.

Словно разминировщик, он очень осторожно вытолкнул ножи из-за ремня, тихо встал и сделал несколько шагов. Послышался какой-то холодный звук: он споткнулся об валявшуюся не земле бутылку шампанского… «Ух, бля!..» — и почувствовал, как екнуло сердце.

Тень остановилась, но не оглядываясь. Он беззвучно приблизился к ней с двумя ножами в руках.

— Не двигаться! Не оборачивайся!

Длинная тень не двигалась и не издавала ни звука. Он, подкравшись, словно лезгин, скрестил ножи у его горла и медленно притянул к себе. У него пересохло в горле, он видел шею и взъерошенные волосы на затылке. Ночной холод принес запах незнакомца. Крепко держа рукоятку ножа, он почувствовал прошедшееся по остро наточенному белому лезвию дыхание и неровный, выступающий кадык.

Жертва стояла, откинув голову назад, с поднятым вверх подбородком, и хранила странное молчание. «Может, это на самом деле привидение?» — подумал он и улыбнулся взъерошенному затылку, ощутив, как сузились глаза и выровнялось дыхание, как исчезло напряжение, а вместе с ним и бродившее по всему телу чувство жалости. «Если что, сшибу с ног» — подумал он про себя.

— Раздевайся!

Тень дернулась.

— Не двигаться! — обхватил он его сильнее, почувствовав как лезвие ножа поцарапало кожу. Раскинь руки!

N уже стоял спереди и основательно прощупывал жертву.

— У него ничего нет, — N осторожно снял куртку с тени. Под ней оказался скомканный воротник рубашки.

N зажег *«Zippo»*. В руках у него был старый жакет с потертыми рукавами, изъеденный молью и весь в дырках, как рыболовная сеть.

— И во что это ты одет?! — спросил N, посветив зажигалкой. Тень отвернула лицо. Огромные глаза и длинный нос, как у звездочета, уткнулись в небо. Он был похож на Пьера Ришара. Не моргал, ничего не говорил.

— У тебя, что, никого нет? — спросил он незнакомца, вдруг осознав, как сильно ему хотелось услышать его голос.

— Есть, конечно, но нам сказали, что еда и лекарства закончились и отпустили домой.

У него был самый простой голос, печальный и в то же время необычно спокойный. Звук мягко ложился на застрявший в ветках ночной мрак.

Они очень растерялись.

— Ты вообще кто?..

— Я Амиран.

— Откуда ты знаешь, что Амиран? — спросил N и тихо рассмеялся.

— Вот... — сказал Амиран и достал из заднего кармана брюк желтый и весь засаленный лист бумаги, сделав это так быстро, что ни один из них не успел даже отреагировать. Он протянул им этот лист.

N сунул жакет под мышку. Свет зажигалки прыгал и метался туда-сюда.

Все трое стояли в круг, в середине плясал желтоватый огонек, что делало их похожими на алхимиков. Только подписанная кем-то справка не вписывалась в общую картину.

N с щелчком закрыл зажигалку, и стало темно. Они стояли молча. На востоке уже потихоньку светало.

— Возьми! — протянул N жакет Амирану.

— Оставь себе, если хочешь, — ответил тот, но все-таки взял и надел.

— И куда ты шел, Амиран?

— К моей сестре. Дома никого не застал, и решил пойти к ней.

— Знаешь, где она живет?

— Конечно, около метро «Исани».

Они вышли из сада на улицу. Все еще горели лампы в ночных киосках. Они подошли к одному, разбудили продавщицу и купили хлеб, 10 яиц, две бутылки водки и такую колбасу, в которой было бы неудивительно обнаружить палец Джеймса Кука.

— Амиран, пошли с нами, — сказал N.

— Ладно, если только в гости...

— Конечно, в гости...

— А у вас есть дом?

— Есть.

Вместе с поднявшимся в утренней прохладе солнцем пришло знакомое ощущение удовлетворения. Все закончилось, опасность миновала. Он шел уставший и освободившийся, опустошенный и все-таки здоровый и невредимый, не к чему было придраться: он не отступал, стоял до последнего, готовый на все, и, если ничего плохого не случилось, значит, так и было нужно. Тем более, что дело обернулось как нельзя лучше. Они долго будут этим гордиться и верить, что такие истории что-то доказывают, что теперь их время, что это все очень важно, что это дело чести и поэтому у них есть право играть со своими и чужими жизнями, словно и те, и другие на самом деле принадлежат им.

Ты смешон, если выйдешь из таких передряг живым, а если не выйдешь, значит, хуже — мертв. Они осознали это потом, спустя годы, но, как обычно, было слишком поздно...

А тогда они возвращались домой с сумасшедшим, которого они нашли вместо куртки. Амиран спокойно шел рядом и даже не старался заговорить с ними. У него были большие руки и чистые, искренние глаза.

Утро уже вовсю разгоралось.

Тбилиси, старый убийца, как всегда просыпался именно в этот час.

— Эй! — окликнул он N, — ты не думаешь?..

— Да, наверно, кто знает?.. Разве ты можешь знать?..

— Нет.

— Ну, и что ты хочешь?

— Устал... Иногда очень устаешь...

— Да, но это тоже ничего не меняет.

— Хорошо, что мы больше не родимся, я правда очень устал.

— Нельзя уставать, этим ничего не исправишь.

— А у него хорошее чувство юмора…

— Да, не говори. Смеется над нами по полной.

— Они бы свели его с ума, — неожиданно сказал Амиран.

— Кого?

— Бога. Если б его не распяли, он бы сошел с ума. Из-за людей.

— Ну и вещи ты говоришь… А вообще… И правда представь себе 34-летнего Иисуса… Год — немалый срок…

N перекрестился.

— Замолчите вы оба, — сказал он, упрямо тряхнув головой. — Нельзя ни уставать, ни сходить с ума. И падать тоже нельзя. Нужно подняться и идти дальше.

Дому N была свойственна одна странность: там никогда не гас свет, словно зажгли электрическую лампочку и приникли к ней, чтобы согреться. Амиран присел на диван. Он был очень худой, только кисти рук были большие.

На диване валялся роман «Мастер и Маргарита». На желтой обложке была нарисована шахматная доска с перевернутыми фигурами. Амиран взял книгу.

— Вы кто? — смотрел он на них обоих.

Воцарилось неловкое молчание. Словно они, давным-давно потеряв друг друга в темном и чужом городе, теперь нашлись и не знали, что делать.

Амиран держал в руках книгу. Желтые руки на желтой обложке были испещерены синими венами. Внезапно он пожалел, что пошел с ними. Ему уже ничего не хотелось, кроме как пойти поспать.

— Ты умеешь играть в шахматы? — спросил у него N.

Амиран и N расставили фигуры на шахматной доске. А сам он принес из кухни большую закоптелую сковороду и поставил на электроплиту. Потом нарезал колбасу с пальцем Джеймса Кука и, чуть обжарив ее, разбил сверху несколько яиц. Затем принес тарелки и стаканы.

С улицы доносились голоса. Незаметно последовавший за ними из темного сада день, честно, как рэкетер, отсчитал свою долю.

— Амиран, водку будешь?

— Да. Люблю водку. Мы часто пили ее в армии…

— Ты служил в армии?

— Да, здесь, в Орхеви. В ремонтном подразделении, там были автомеханики по грузовым машинам.

— Они же к тебе не приставали, нет? — спросил вдруг N и внезапно напрягся. — Они тебя не обижали?..

Вот так вот всегда — «они к тебе не приставали?»…

— Нет, если чисто подмести и убраться, никто не ругал, относились хорошо. Наоборот, это я ругался, нам не выдавали оружия. Служили в армии, а ни разу не держали в руках автомат. Они сказали, что ребята пошли на войну и унесли с собой все оружие. Оно им там было нужно. А вы были на войне?

— Нет.

Еда была готова. Они сели за стол. Ели яичницу с колбасой, запивая ее водкой, и грелись. Амиран тоже пил. Было совершенно незаметно, что он сумасшедший. Единственное: он то и дело вытряхивал пепельницу. Сказал, не выносит запаха.

Полуденное тепло дышало на замерзшие за ночь окна. Завалившись на кровать прямо в одежде, они спали, как убитые. Амиран к тому времени уже ушел. Весь дом был пропитан запахом сигарет. Солнечный свет ложился в комнате полосами пыли, смешанной с сигаретным дымом, все в ней осталось без изменений. Только пепельница была пуста.

Перевела с грузинского Анна ГРИГ

Тамри ПХАКАДЗЕ

Я, УЛИТКА

Иногда мне кажется, что я одна такая… единственная и неповторимая. Что под синим небом нет никого, такого же неповторимого… среди четвероногих, двуногих и даже безногих. Ведь я улитка. И я взяла на себя… взяла на себя что-то такое, чего бы никто… чего бы никогда…

О Господи, как трогательна эта трепещущая прозрачная зелень!..

Ползу куда-то… в никуда… Просто ползу и чувствую на спине то, что взвалил на меня Ты, Господи, — мой дом! Мою крепость! Мою тяжелую, но дорогую ношу… такую тяжелую!.. и такую дорогую!.. И ползу я, Господи, оставляя след… И этим Ты выделил меня среди остальных. Ползу со своей тяжелой и дорогой ношей и оставляю за собой след, и все знают — что здесь проползла я и оставила блестящий и тонкий, едва заметный след… веселый и печальный в то же время.

А наверху повсюду небо. Большое и синее. Я способна увидеть только малюсенькую его часть, потому что не могу поднять голову… только глазами ворочаю изо всех сил, но получается смотреть не вверх, а вперед, вдаль, и вижу только скопившуюся синеву, надо мной же шелестят ветвями огромные деревья, и летают птицы… Но солнце… Господи, велико бремя, возложенное Тобой на мои плечи! Так велико, что вот-вот меня раздавит… И ведь сколько всего я не видела, не ощущала, всего того, что есть там… где нет меня.

О том, где находится солнце, приходится лишь догадываться… определять по длине и густоте теней… и еще — иногда я нахожу в лужах осколки красного диска и воспламенившиеся облака.

Мне хочется сказать тебе все, Господи! Именно сейчас, когда сверху опустилась огромная полоса золотистого света, я прижимаюсь к земле, затаив дыхание и укутанная теплым туманом, и ощущаю Твое присутствие в самой непосредственной близости от меня… может даже, в этих поблескивающих каплях росы.

Грешна я, Господи!..

Даже не знаю, с чего начать…

Я улитка, и на то Твоя воля. По велению Твоему ношу на спине мой собственный дом. Или, может, все то — что люди называют родиной? Вот не понимаю я, Господи, если эта самая раковина — мой дом, то, выходит, все, что вокруг — родина, но, если она, раковина, — родина, так ведь остальное — вселенная? И неужели в этой огромной вселенной я оставляю хоть какой-то след? И разве это не удивительно и не навевает легкую улыбку?..

Господи! Я знаю, что должна не ропща нести свою ношу! Не ропща, с легкостью… Но иногда… прости меня, Господи, иногда такая грусть, такая тоска охватывает душу, что хочется вылезти из вечных недр моей раковины и помчаться прочь, затеряться в пространстве, устремившись ввысь, в бесконечную и всепоглощающую синеву, забыться и забыть про дом, где-то вдалеке утопающий в ароматной куче сырых листьев.

Однажды…

Видишь, Господи, я ничего не скрываю…

Однажды я так и сделала… Стояла лунная ночь — затаившаяся, соблазнительная, странная, полная таинственных звуков и шорохов. Я смотрела на луну, медленно покачивающуюся на темном дне лужи посреди травы и камешков. Она будто призывала меня пойти побродить по свету, узнать другой мир… То там, то здесь, словно драконы, хлопали крыльями летучие мыши, и ужасающим голосом кричала сова в глубокой, страшной тьме, а я вместо того, чтобы укрыться — не знаю — в доме ли, на родине или в себе, почувствовала безумное и непреодолимое желание бежать от всего этого… Ну, разве не смешно, Господи? Улитка и вдруг непреодолимое желание бежать…

Но оно, это желание, охватило мое сердце с безудержной силой! И мне даже захотелось шумно и с демонической силой полететь, как летучая мышь и врезаться в полную странного свиста и леденящего душу совиного переклика тьму… Хотя почему же тьму? На гладкой и отливающей чернотой поверхности лужи плавала луна, и ее бледный свет делал все вокруг похожим не притихшее и печальное кладбище… Туда мне и хотелось, Господи, — в компанию странных колеблющихся теней, непроходимую чащу неизвестности… неизведанный водоворот приключений!

Но на спине… на моей спине стоял дом, дарованный мне Тобой, мой удел, за который я держусь так же, как он — на мне!..

Где-то, далеко или близко, кипела сумасшедшая ночная жизнь… Полная дикого рева, страстного воя, бешеного рычания и даже напряженной, трепещущей тишины. Вот на что я хотела променять уют, воздвигнутый на моей спине еще при сотворении мира! Думала свои мысли, колышущиеся как оборванные пряди паутины… Думала, что убегу… далеко, очень далеко! Туда, где все увижу, все почувствую! Где перевернусь на спину и посмотрю на небо, луну, звезды, и по моей груди пробегут огромные тени черных летучих мышей, и я увижу, как сорвется с неба звезда и, взорвавшись, посыплется блестящей цветной пылью… Знаешь, Господи, мне даже больше не хотелось оставлять за собой след! Пусть бы никто и не узнал, что я была здесь. Я ведь стремилась смешаться с огромными таинствами вселенной и стать хотя бы небольшой, но тоже тайной…

Понял ли Ты меня, понял ли Ты мои желания? Бежать, бежать как можно скорее!

И в то же время, со слезами на глазах думалось мне, уже столько времени я живу так, как живу, ношу на спине дарованный мне Богом, а может, присужденный в качестве наказания, этот груз, мой дом… Все, что у меня есть… а сейчас я словно предаю его…

Думалось мне, что именно он, этот дом, эта моя сладость, давит на меня, сковывает и заставляет ползти слишком медленно, но как только смогу вылезти отсюда, — тогда уже все, свобода! Полечу, помчусь быстрее ветра! Легче ветра! Главное, не оглядываться назад и не видеть оставленное и опустевшее э т о… да, это, — мой дворец, тюрьму… не видеть, как *это* останется печальным и без единой надежды, едва озаренное бледным лунным светом. Думала: все, я свободна!! Весь этот огромный мир теперь принадлежит мне! А я ему!! Растворюсь в нем, затеряюсь вместе с моим жалким, смешным следом! А потом — потом взойдет солнце! И я увижу уже не золотистые осколки в луже, а познаю его целиком и предамся могущественному свету… Главное, не вспоминать о т о м, что называлось *моим*… не иметь ничего *моего*… вернее — теперь все должно стать м о и м! Весь мир, вся свобода, вся жизнь и даже сама смерть во всей полноте… М о е — на этот раз будет огромным, необъятным, а не тяжелой и сладкой темницей.

Выслушай меня, Господи! Ты где-то здесь, ведь так? Совсем близко… Может, Ты весь в золотистом теплом тумане, обвивающем меня и волнующим

мое сердце, или в этой прохладной и ароматной земле, к которой я прильнула всем телом…

Выслушай, Господи…

В ту лунную ночь я предала Твою волю. Медленно, крадучись вылезла я из родных недр и без оглядки устремилась вперед, на пьянящую волю!

Я ползла сравнительно быстрее и легче, чем раньше, и все, что под небом и даже само небо — все принадлежало мне! Хотелось крикнуть: Ээээй! Я здесь, я пришла!! И хотелось подставить себя под изливающийся серебром водопад лунного света и утонуть в нем… Хотелось обойти отягченный росой каждый ночной цветок и поведать, что вот она я! Я совершенно свободна!! И пока даже не знаю, где меня застанут ночь или рассвет… И вот, я уже не тащу на себе свой кров и я такая же бесприютная — как ветер или дождь…

А потом… потом я будто оказалась на большом бурном балу и потеряла голову в вихре событий, и именно тогда, когда я уже собиралась наречь свое существование по-новому, именно тогда, Господи, мне вдруг стало тоскливо, и моя спина, на которой вот-вот должны были вырасти крылья, вдруг осиротело заныла…

И я сразу как-то отяжелела, Господи. Медленно, почти придавленная к земле, я продолжила свой путь, а вокруг сыпались тонкие и блестящие, как лед, осколки моей мечты… Я задыхалась среди этой огромной свободы… И с такой неожиданностью и болью почувствовала я отсутствие моей ноши, Господи! Ее отсутствие давило на меня со всей силой, будто на мою спину навалилось нечто втрое тяжелее, и вдруг я поняла, что моя свобода как раз и заключается в моей неволе и что маленький дворец-темница порождает в душе мечты и легенды о свободе… ведь… ведь сама свобода — только ее попробуешь — одна большая тюрьма… Но вот я забеспокоилась, заметалась: где он, мой дом, как мне его найти, Господи? Найти то, что м о е… с е б я…

Передо мной ли, за мной — но сияющий под лунным лучом след, оставленный мной, мой жалкий и смешной след, показывает мне путь. Хрупкой и мерцающей нитью вьется он к моему прошлому и в то же время к будущему!.. Вот, вот мой дом!..

О, если бы ты знал, Господи, как я обрадовалась, завидев его, найдя и вернувшись в него. Вновь забравшись в родные недра и едва пристроив их на спине, я поняла, что это и есть мои крылья, несущие меня сквозь мечты.

Кажется, я все сказала тебе, Господи. Теперь я знаю, что, убежав, ничего не добьешься… только мечта убежать и значит что-то. И еще знаю, что… хотя ты сам все знаешь…

И вот я теперь ползу в изумрудную бесконечность, ползу с моей старой, старинной ношей, и я — это я… улитка.

Но когда-нибудь… опять…

Перевела с грузинского Анна ГРИГ

СТИХОТВОРЕНИЯ

МЕЖ ЛИСТЬЕВ ЗЕЛЕНЫХ СВЕРКНУЛО НЕБО

Меж листьев зеленых сверкнуло небо,
Меж листьев других оно тоже виднелось.
И можно было сказать: это небо тому равняется, или
Сказать, что оно ему не равняется.
И все потому, что знаки:
>,< и равенства
Были брошены всуе на глубокое дно,
Спутаны и переплавлены.
Богов не коснулось это деянье вовсе,
Но только людей,
Которые
Наизусть читали мифы и формулы.
В дар получили они длинную память,
Короткую руку, ввысь воздетую,
А также круглое сердце
И плоский лист,
На котором это записано.
Зеленые листья тем временем
(т. е. сезонно, в течение тысячелетий)
Обрамляли те небеса,
Что пытались выговориться
Об оставленности в любви, а также
Отобразить существующие на земле
Измученные материальные тела:
Тела морских коней,
Царей и фолиантов.
Они — отделенные друг от друга зелеными листьями —
ими же объединились
на уроках природоведения и
вверх обращенных взглядах влюбленных глаз.
Они — небеса — оставляли — право себе
быть
беспощадными пожирателями
относительных сочетаний.
Они небесами были сверкнувшими меж
Зелеными листьями
И больше, больше ничем.

БЕРЕМЕННАЯ СИЛЬВИЯ

Золоченное тело
перемещая между предметами темными,

она прислушалась к потрескиванию кожных пор,
и вспомнил вдруг
увяданье тюльпанов вместе с вазами.
Молоко, хлынувшее из темных предметов,
выливалось ей на живот,
напоминая белую тень,
упавшую от тяжелых предметов,
тень, что удлинялась бесшумно,
подчинившись закономерностям
удлиненья.
Посмотрев на нее,
она от неловкости съежилась,
и не смогла представить себе
рожденья из недр белоснежной тени
сотканного из костей и крови ребенка.
И лишь положив на вздутый живот
листок и перо, к письму подготовившись,
осознала его реальность, незаменимость
и счистила пыль деловито.
Пыль, перебравшуюся к ней вместе с жизнью,
и тонкой пленкой плодородия осевшую на ее животе.

КОГДА У ДЕВОЧКИ ДРОЖАТ РУКИ

Когда у девочки в 17 лет
Дрожит рука,
Подумай, что есть Бог.
Подумай, ведь вселенная
Трепещет без конца,
А может, и трясется.
Но все-таки заметь:
То, что трясется —
Это всегда Рука,
Стакан, Снег, Бог,
В смятенье приведенный
Замешанной им глиной.
Рука, с протянутыми пальцами,
А между ними сигаретой.
Подумай — *что* это, а после
Взгляни себе на руку,
Что на клочке листа,
От воздуха дрожащем,
Выводит каракули.
Подумай, как у девочки
Дрожит рука,
И постарайся
Не сразу умереть,
Ведь во вселенной тогда
Вдруг может возрасти на пару часов
Девичья амплитуда
Трепета.

ПОМНИШЬ, КАК КИТАЙЦУ ПРИСНИЛОСЬ, ЧТО ОН БАБОЧКА, И ОН ПРОСНУЛСЯ

Я видел во сне тебя
Бабочкой.

Наяву увидел —
Стала двумя.

Понаблюдав за тобой,
Я понял — вас трое.

Отбросив хрупкий сачок,
Ты доверилась мне
И в четверых превратилась.

После признанья в любви
Вас уже было пять.

В сердце каждой из них
Проснулось чувство,
И вдруг пять бабочек
Взметнулось ввысь десятью.

Мне приснилась каждая из десяти.

С утра над моей постелью порхала сотня,
Взвивалась, металась и плавала.

И мне ничего не осталось, кроме
Как стать сотни раз сотней,
И каждую собой опоясать так,
Как они кружились вокруг меня
Мгновенье назад.

SALE 40%

Я, тогда, когда
Цветы и туфли
Подешевеют на 40%, чтобы
Женщины ходили цокая (с букетами)
И умерли, даже
Не понимая того, что оставили
Свои уцененную жизнь и обувь
На скомканной почве Земли…

Я, тогда, вот тогда…

Перевела с грузинского Кети ЧУХРОВ

ЧЕЛОВЕК-ДЕРЕВО

Эй, дерево, не устало ли ты стоять?
Хочешь, я на минуту займу твое место —
вместо тебя подниму руки к небу?
Только скажи мне на ухо
свою молитву,
и не слишком удивляйся,
что меня до сих пор не научили молиться.
Эй, дерево, присядь на корточки, передохни,
хоть на минуту поверь мне и не огорчай.
Ведь это моя последняя надежда:
стать хотя бы деревом,
если я так и не сумел
стать на этом свете человеком.

ВЕСНА

Нагота зимы перешла с деревьев
на наши тела,
а тела —
одежды вернули веткам.
Воробьи, сидящие на них —
эти апостолы весны —
принялись клевать последние крохи
верности и воли…
Зимние ветра,
вновь вторя нашим страстям,
сшиблись друг с другом и
сломались, будто копья
достойных соперников.

Перевел с грузинского Герман Власов

* * *

В дереве этом зреет,
как плод,
книга —
в надежде,
что рука человека
через века
коснется ее страниц…
Взгляни
на тень дерева.
Тут —
будущей книги
душа
дремлет…

Перевела с грузинского Сусанна Арменян

СТИХ-ГРОБ

Мои стихи — гробы,
Я в них покоюсь,
В том доме, что
Поэзией зовется
И каждый день
Ко мне на панихиду
Идет, идет
Народ…

Перевела с грузинского Ирина ДАНЕЛИЯ

Дмитрий ЦИКЛАУРИ

ГАМШИНА ЗИМА

Всегда, когда переносишь произошедшие события на бумагу, слова являются лишь бледным отражением реальности. Ощущение такое, словно выгребаешь лопатой головешки из раскаленной печи, рассыпая их по холодному снегу, в котором они сразу исчезают. Вместо реальных людей снуют взад и вперед скучные силуэты... Вот тут-то и вступает в силу воображение, чтобы оживить написанное. Ведь реальность конкретизирует воображение, и, едва наметив содержание, сразу начинаешь спасать текст.

Именно поэтому я не раз думал: действительно ли я принадлежал к тому самоотверженному племени и действительно ли знал самого Гамшу, которого прежний предводитель оставил своим преемником? И мудрый допускает ошибку... «Мудрый» — это определение точно соответствовало прежнему предводителю, полному достоинства и благородства. Слава о нем пронеслась повсюду, и этот период нашей жизни был самым ярким. Что касается Гамши, я не только его знал, но испортил себе зубы, каждый раз скрежеща ими при его появлении. Сердца, таких, как он, невозможно завоевать даже в мечтах, а соблазн разоблачить их уступает место обыкновенному человеческому страху.

К концу листопада прежний предводитель оказался прикованным к кровати. Мы по очереди бодрствовали у его одра, чтобы не дать светящимся птицам забрать его душу в другой мир без надежды быть помянутым. Верить в такие вещи нас заставляло суеверие, которому мы были всецело подвержены. Наступали холода. Побелевшие вершины вдали давали ощущение того, что мороз будет долгим. Все уже знали, что старый предводитель собирается назначить своим преемником Гамшу, это грубое и неотесанное, но отчаянно отважное существо, главным развлечением которого было сбрасывание огромных камней в воду, а его великолепно сложенное тело тем временем блестело на солнце. Местные жители опасались, как бы он не запрудил реку, но Гамша никак не реагировал на их замечания и прекращал сбрасывать камни, лишь когда ему самому это надоедало. Имея во главе такого человека, мы ни от чего не были застрахованы.

Во время моего дежурства у постели умиравшего предводителя Гамша зашел в комнату. Он даже не посмотрел на меня, и слава Богу, а то бы приказал выйти, а мне очень не хотелось, чтобы первенство с самого же начала осталось за ним. Гамша оперся о край комода, на котором стояли маленькие фарфоровые мужички, похожие на традиционные изделия китайских мастеров. Какое-то время он стоял с опущенной головой, задумчиво глядя на разбросанные на полу стружки, а потом вдруг разговорился. Гамша с гордостью отметил, что душой и телом принадлежит к племени и верит в будущее сильнее, чем в смерть, вспомнил славных предков, прошедшие битвы и завоеванные территории... Он говорил и говорил, словно забыв, что стоит перед смертным одром человека, которому осталось совсем немного.

— Замолчи, Гамша, — обессиленно остановил его предводитель. — Замолчи и дай мне сказать! — тяжело выдохнул он. — Славное племя может погибнуть, если ввяжется в неравную войну. И в то же время: умереть — это как

найти всему свое место, мы всегда где-то существуем! — После небольшой паузы он вяло продолжил: — Оставляю тебя вместо себя, Гамша, я уже отдал распоряжение!

Но Гамша никак не отреагировал на эти слова, словно не узнал для себя ничего нового или удивительного. Он чувствовал свое превосходство перед всеми, а большое самомнение заставляло его в свободное время копаться в святых книгах, хранящихся в архиве, с непременной целью найти пророческое упоминание своего имени: Гамша не сомневался в том, что святые отцы еще в ранние века предвидели его появление, но, не найдя никаких тому доказательств, был потрясен подобно охотнику, оставшемуся без добычи. При его появлении, всегда думалось — «сам Гамша пожаловал», и эти три слова были неразделимы.

— Мороз все уничтожил! — выдавил из себя Гамша вместо слов благодарности. — Дети чуть ли не плачут, а у новородивших матерей заморозилось молоко в груди!.. — Гамша задумался, словно ему нужно было сказать еще многое.

— Что поделаешь! — воскликнул предводитель. — У года — четыре времени, царствующих по очереди. Мороз сменяет жара, жару — мороз. Это не наша война! Я никогда в нее не вмешивался! — на долю секунды его взгляд скользнул по вечернему небу. — Холода продержатся еще два с половиной месяца, — пробормотал он. Я тоже посмотрел в окно. Шторы были раздвинуты, и сквозь заиндевелое стекло был виден кусочек неба. Было интересно, по каким признакам он предугадывал будущее…

— А я обязательно вмешаюсь и поменяю этот чертов распорядок!.. — сурово и чуть ли не по слогам процедил Гамша.

— Ты слишком горяч, Гамша! — с сожалением покачал головой предводитель. — Когда же ты поостынешь?

Скоро он сменил тему и как-то смягчился.

— Думаю, мне осталось недолго! А ты будешь ходить на мою могилу?

Но Гамша казался равнодушным к страданиям предводителя и словно отвечал ему взглядом — «Смотря где тебя похоронят»…

Никто больше не произнес ни слова.

— Эх! — вырвалось у предводителя, когда Гамша выходил из комнаты. Наверно, он о многом сожалел, но ничего уже не мог изменить, у него не осталось времени. Может, на предводителя подействовал несгибаемый характер Гамши или, может, он подумал, что поспешил с выбором. Я же стоял на стыке двух эпох, которые резко отделялись друг от друга.

* * *

С утра Гамша собрал нас. В нашем поселении кладовые были намного больше самих домов, а все важные вопросы, как и принято в провинции, решались на главной площади, которая находилась как раз между кладовыми. Немного колеблясь, Гамша объявил, что он теперь наш новый предводитель. Это вызвало небольшой ропот среди присутствующих. Под конец он воскрикнул: «Мы не уступим морозам ни пяди нашей земли! Если хорошо потрудиться, победа будет за нами!»

Эти слова странно подействовали на нас. Было очевидно, что Гамша собирается предложить нечто новое, и мы, вооружившись орудиями труда, чувствовали в себе готовность пойти за ним хоть на край света. Он потрясал кулаками и поносил матерными словами незримого врага, словно вызывая его на открытый бой. Надо сказать, что отвага в нем не уступала место даже малейшей крупице ума. Когда Гамша проходил мимо, мы его окликнули: «Значит, идем воевать?», но он ничего не ответил. Никто не стал теребить

нового предводителя, хоть все и глядели в его сторону хмуро и с недоумением. В передних рядах слышался шум, волнение было так велико, словно за день до этого сюда приходили миссионеры, призывавшие ко всеобщему неповиновению. Когда видишь, как соседние государства ввязываются в войны, невольно приходит в голову, что власть там в руках у мечтателей. Мы наскоро закончили собираться и пустились в путь. Навьюченные мулы шли рядом, помимо всего прочего, они тащили на себе и завернутые в тряпки кирки. Мы остановились отдохнуть у старой секвойи за пределами села, которая под тяжестью шишек так наклонилась к земле, что создавалось впечатление, будто ее корни уходят в небо. На ветвях дерева собралось много птиц, и от них стоял сильный шум. Женщины и дети весело провожали нас, радовались старики. Я был удивлен, что все вдруг так изменились, и не понимал, какой бес их попутал. За нами даже увязался единственный калека, живший в селе, но Гамша ни за что не включил бы его в состав нашей армии и был бы прав: в случае чего от него не было бы никакой пользы.

— Мы собираемся принять участие в большой битве, ты не можешь нас сопровождать! — обратился Гамша к калеке.— Оставляю тебя здесь и приказываю отгонять птиц, смотри, делай свое дело хорошо!

Потом он повернулся к нам: «Это касается вас всех! Пусть знают, что это наша земля и мы не признаем обитателей неба. А эти морозы — дерзкое послание из их настоящей родины!»

Мы двинулись в путь. Я прошел мимо задранных носов и оказался прямо перед калекой. Он стоял с опущенной головой, и мне казалось, все понимал. «Что-то не нравится мне все это!» — шепнул я ему на ухо. Калека посмотрел на меня с упреком, хотя ничего не ответил. Он тоже поддерживал правое дело Гамши, но я расположил его к себе с самого начала, всегда делясь с ним сухим завтраком.

— У меня к тебе одна просьба, каждый день делай зарубки на коре секвойи! — только это я и сказал. Калека кивнул в знак согласия и прямо передо мной сделал первую метку. «Итак, отсчет начался!» — сказал я сам себе, и с того дня мы пустились в бесцельное странствие по пустынному снежному пространству. С собой у нас было замороженное пеламуши, оно лежало оранжевыми пластинами в небольших кожаных сумках, в свою очередь лежавших в огромных холщовых мешках, которые тащил идущий последним мул. Словно в знак благодарности, мы заботились об этом муле больше, чем об остальных. Он тащил еще и большой бидон водки, взятой, чтобы не замерзнуть. Дрожа от холода, обессиленные, мы обитали в этом холодном и бесполезном мире как квартиранты. Дорога была мерзлая и скользкая, мулам тоже было тяжело идти, и приходилось им помогать, ведь, если что, пришлось бы тащить груз на своих спинах. Вода в сосудах замерзла, и мы выбросили их в первый же день. Снег придал осени бледность. Вокруг все, включая нас самих, идущих с угрюмыми лицами воевать с зимой, было представлено в мрачных тонах. Окончательно оторвавшись от прежней жизни, словно стремясь найти здесь последнее пристанище, мы буравили сыпучий снег, чтобы узнать его не прекращавшую увеличиваться толщину. Издалека доносился вой волков, но они не посмели бы приблизиться, нас было много. На первый взгляд мы выглядели смирными, но, когда хватало сил, лезли в драку друг с другом, а однажды кто-то даже выхватил нож. Как только наше смирение падало ниже нуля, наружу, подобно гейзеру, сразу вырывалась ярость. В такие моменты проявлялась наша истинная натура. Только появление Гамши нас и утихомиривало. Тоскуя по теплу, мы продолжали воевать с морозом, но этот радушный хозяин мира уже достаточно привык к нам, и единственное, чего он страстно желал, — затащить нас на свое кладбище. Иногда у него получалось, и мы хоронили умерших глубоко под снегом и землей. Одни

из нас умирали, другие же, игнорируя смерть, продолжали двигаться к цели, словно она существовала за пределами жизни и смерти. Другого выхода не было... Нужны были перемены, которых все добивались по-разному: ярые идеалисты устраивали восстание, великие художники использовали свою кисть, писатели — перо, а нам дали в руки лопаты для разгребания снежных заносов. Стоило ли жить без права на счастье? Существовало ли оно вообще когда-нибудь — счастье?.. Ответ был однозначным: если счастье и существовало, то только для тех, ради кого мы выбивались из сил.

Снег валил не переставая. Подавленные видом огромной белой массы и не зная, как с ней справиться, постоянно чувствуя, что следующий день будет хуже предыдущего, и считая, что напрасно покинули родное село, мы продолжали оставаться там, вдали от множества гладких реальностей. Пришлось покорно принять суровый образ жизни, который навязал нам Гамша. Воздух тем временем превратился в огромный белый ковер, мы же уподобились реликтам бесцветных трепещущих существ. Время от времени мы свистели и хлопали в ладони, отпугивая птиц, сидевших на обледенелых ветках, и думая, что это одна из составляющих борьбы. Кроме того, птицы, хлопая крыльями, вносили хоть какое-то оживление в царивший вокруг мертвящий покой. Блестящий на солнце снег слепил глаза, даже закрыв их, мы не могли отогнать от себя образ этого проклятого ландшафта. Постоянно пребывая в состоянии какого-то полусна, мы уже не различали, где сон, а где явь, и только в незначительных интервалах между ними понимали то плачевное положение, в котором оказались. Наша одежда превратилась в лохмотья, мы стали похожи на нищих, перестав быть представителями среднего класса. Гамша же сохранял превосходство над нами и время от времени резко окрикивал, выводя нас из оцепенения. В тот день он опять на нас накинулся и с такой яростью, что мы долго не могли его успокоить. Наверно, ему было тяжело выносить наши взгляды, так как он уже и сам понимал бессмысленность своего начинания, все равно оправдывая себя: «Мы сейчас как на ладони. Наши матери, жены, дети наблюдают за нами с надеждой, и мы не должны их разочаровывать! Все эти муки окажутся незначительными по сравнению с долгожданной радостью!». Его слова нас встряхнули, и мы стали разжигать костер, бросая в него целые деревья вместо щепок. Чтобы не уснуть, приходилось до утра развлекаться шутливыми разговорами. Когда наступал рассвет и на небо выплывал солнечный диск, снег начинал сверкать золотистой пылью. Это было удивительное зрелище, но Гамшу оно не трогало.

— Мы должны покинуть это место! — неожиданно приказал он.

И мы выбрали направление, которое уводило нас все дальше и дальше от родного очага. Гамша обращался с нами очень жестоко, не жалел грубых слов, заминированных гневом и взрывающихся, едва он их произносил. Но никто из нас даже не пытался ему противостоять, мы молча его слушали. Грубый тон и нахмуренный лоб были характерны для Гамши. Я никогда не видел, чтобы он улыбался, создавалось ощущение, будто он болен какой-то неизлечимой болезнью. Хотя, может, мы заслуживали еще худшего обращения. Настаивание на своем и сумбурные речи были его коньком, а мы, находясь под впечатлением, выполняли волю Гамши, не в силах повернуться к нему спиной и чувствуя такой восторг, словно стояли у ворот, ведущих в чудесный сад. Но суровая реальность предложила один лишь бездонный снег, в котором мы копались в стремлении успеть найти... Что мы здесь искали... справедливости?.. Нет, мы просто хотели вернуться домой, сами в это не веря. Даже если бы мы выжили, дух был бы сломлен.

Был полдень, когда мы заметили гору вдали, и нас охватило ощущение, что мы наконец нашли главное логово зимы. Гора стояла как огромная,

побеленная снежной известью стена, казалось, за ней ничего больше нет и это крайняя точка земного шара,. Мы взяли ее за ориентир, и тронулись в путь. Потревоженные птицы резко взлетали, разметая покрывающий хвою деревьев иней в воздухе. Все лужи, большие и маленькие, весь большой и шумный мир воды был погребен под коварным льдом. Однако у подножия горы стремительно и неистово текла река. Мы угрюмо смотрели на нее, измученные от холода, голода и спазм, а ветер бросал нам в лицо снег.

Костер развели только к вечеру. Освещая воду факелами, мы стали рыбачить. Отливая бирюзой при свете луны, рыбы попадались на крючок, и мы вытаскивали их из воды. Тем временем и так уже мигающий огонь потух, нам пришлось разжигать его заново. Мы насадили рыбу на тонко обтесанные ветки и поставили на огонь. Ужин получился вкусный, к тому же не пришлось трогать запасенную в дорогу провизию.

Следующее утро Гамша начал с агитационных речей:

— Для чего покорять вершину? Она ведь и так видна со всех сторон. Просто схватим ее за горло и согнем... Солнечные лучи возвестят нам о победе!

Видимо, он вкладывал в эти слова особое значение, глаза его так загорелись, словно заветный час уже пробил. А потом его понесло: «Мы уберем снег со склона и выбросим его в реку. Если что-то останется, засыплем солью: пусть сияет тускло, как драгоценные камни на бесполезной короне побежденного короля!». Сказав это, Гамша показал на мулов: «Для этого и нужны были набитые солью мешки, которые они тащат!».

С того самого дня начались приготовления. Увидев нас издалека, никто бы не догадался, чем мы занимаемся: уцепившись за корни деревьев и то ложась на землю, то вставая, мы били снег... Не зная, сколько времени еще потребуется, мы с утра до вечера деловито хлопотали между рощами и были полны решимости. Мы все понимали... хотя в действительности это «все» было окутано туманом. К Гамше же не могло быть никаких претензий: может, он и навязал нам свое лидерство, но мы и не возражали, похожие на плодовые деревья, молчаливо встречающие садовника.

Сперва мы очистили подножие горы от снега, потом разбили лагерь и прилегли у костра на настил из веток. Утром нас вновь ждало неимоверное количества снега, словно предыдущим днем вовсе ничего и не было сделано. Где-то наверху, в бледных небесах, имелись обильные запасы снега, которые то и дело сбрасывали нам на головы. Костер тоже потух, потому что дежуривший у него заснул. Мы так окоченели, что еле встали на ноги, а разъяренный Гамша начал вовсю бить дежурного, пока тот не потерял сознание. Потом опять разожгли огонь. Этот случай сделал нас внимательнее. Гамша не должен был на нас злиться, в конце концов он все это затеял. Я отлично знал, как был настроен к нему прежний предводитель. И все-таки было видно, что у Гамши заметно поубавилось бодрости, хотя он и не подавал виду.

— Делимся на три группы! — сказал он.— Первая группа остановится посередине склона, вторая вместе с предводителем поднимется на вершину горы, а третья останется здесь у подножия и сметет сорвавшуюся снежную массу в реку. Если вода начнет замерзать, пробивайте поверхность лопатами! — последние слова были обращены к тем, кого Гамша собирался оставить у подножия горы.

Так мы и поступили: оставили треть нашей провизии внизу и стали подниматься в гору. Подъем был трудный, мы чуть ли не позли, часто приходилось останавливаться. Посередине горы мы обнаружили большую пещеру и зашли внутрь с зажженными факелами. С мутного потолка свисали летучие мыши, а в середине пещеры сверкали огромный сталактит и сталагмит. Мы положили одну треть наших съестных запасов в глубине пещеры, а затем Гамша внес изменения в план действий.

— Ты остаешься здесь! — строго обратился он ко мне. — Когда у нас закончится еда, мы спустим веревку, расстояние отсюда до вершины небольшое!

Потом он пересчитал мешки и отдал приказ, взять только два. Гамша принял верное решение, ведь этот подъем был самый трудный. Скоро я остался в пещере один. Каждое утро я находил спущенную веревку, видимо, они постоянно чувствовали голод на таком морозе. Прошло достаточно времени, но никто не появлялся. Скоро все запасы закончились, кроме одного наполовину опустошенного мешка. Я принялся за последние остатки пеламуши. Я быстро прожевывал его и запивал снегом, вместо воды. Это был самый вкусный завтрак, который я когда-либо ел. Замороженное пеламуши хрустело на зубах, и это добавляло ему особое очарование. Предполагалось, что веревку уже не спустят: Гамша точно знал количество взятой в дорогу еды. Пришло время отступать. Поэтому я ожидал появления Гамши в любую минуту, хотя мог бы вообще уйти, но не решался, не получив на то приказа и зная его скверный, вспыльчивый характер. Не хотелось давать лишний повод для того, чтобы быть обруганным. Я был весь в этих мыслях, когда раздался оглушительный шум. Огромная масса мерзлого снега и льда разлетелась на кусочки, которые уже летели вниз. Гора долго дрожала, словно по ней пробегала огромная конная армия. Словно все, что было опорой этому ландшафту, рушилось. К тому же случилось и нечто непредвиденное: снежная лавина закупорила вход в пещеру, и сама пещера наполовину наполнилась снегом. Летучие мыши подняли ужасающий крик. Я оказался запертым в этом огромном хранилище. Вырыть проход казалось невозможным, это заняло бы уйму времени, а так как еды здесь больше не было, вряд ли кто-нибудь пришел бы за мной: они бы не стали меня искать и, может, даже подумали, что я ушел. В любом случае ждать помощи было неоткуда. Я прислонялся к холодным камням и прислушивался к сильному ветру, рычание которого напоминало львиное, поэтому и пещера напоминала львиную пасть, которая меня поглотила по воле случая. Вокруг лежала суровая и влажная тьма, подходившая как раз для слепых и уродливых летучих мышей — поистине пещерных существ. Я же был чужим среди летучих мышей, и это меня обнадеживало и наполняло решимостью покинуть эту пещеру, ведь, к счастью, человечество давно уже пережило период обитания в пещерах. Я начал ломать мерзлый снег большим куском сталактита, и после долгих усилий мне это удалось. Потом я подошел с другой стороны и был вдруг ослеплен резким светом. Видимо, над миром разлеглась утренняя заря. Я чувствовал, что обожаю рассвет, шумное пробуждение птиц, их щебет и рождение солнца в спокойной таинственности пространства. Расковыряв руками едва заметную дыру в снегу, я начал ползти через нее. Разодрав руки до крови и даже не заметив этого, я наконец выполз на дневной свет. Вдалеке была видны наши, медленным шагом направлявшиеся домой. Было бы совсем нетрудно догнать их, зимы больше не было и в помине, только местами виднелся затвердевший, как камень, снег. Я стал спускаться по неровному склону, и, оказавшись внизу, почувствовал такое облегчение, словно освободился от колониального режима мерзлоты. При взгляде на гору у меня сжалось сердце: снег, словно прячась от наказания как ребенок, остался в самом небольшом количестве лишь на вершине — и то в местах, до которых невозможно было дойти или дотянуться.

— Неужели все-таки получилось! — подумал я, а белые облака лениво проплыли через синее небо в том направлении, в котором собиралась скрыться с глаз Гамшина армия. Я тоже пошел за ними. Все вокруг было освещено знойными и в то же время хрупкими лучами солнца, и это придавало местности такой торжественный вид, что невозможно было не чувствовать

радость. Когда я присоединился к моему подразделению, то осознал, что этот ужасно растянувшийся и печальный период — Гамшина зима — закончился.

* * *

Оставшееся расстояние мы прошли молча. На пути нам встречался мох, лежащий в тени деревьев как клочки зеленых гобеленов, здесь и там проглядывали подснежники и фиалки. Когда вдали показалась секвойя, мы заметили и калеку, который, едва завидев нас, стремглав кинулся в село. Это нас очень развеселило, хотя мы и не думали смеяться над ним. Вдали виднелись веснушчатые поля, которые днем обвевал легкий ветер, а по ночам освещали своим бледным светом звезды. Я немного отстал от соратников, присел на корточки у корней дерева и начал считать метки. Их было ровно семьдесят пять — сколько и предполагал предводитель, что означало не нашу победу, а то, что природа идет своим закономерным порядком. Я понимал восторженное состояние калеки. Вестником такого рода победы следовало быть именно калеке, а Гамша, непоколебимый победитель могущественной зимы, оказался всего-навсего непутевым авантюристом. Другого эпитета я бы не нашел, он ведь так усердно пересчитывал оранжевые слои пеламуши, израсходованные факелы и даже потревоженных птиц, уныло вырисовывавших в небе траектории своего полета. Было очевидно, что он посчитал и количество дней. Я разгадал умысел Гамши, но армия так сильно ему доверяла, что было бы бесполезно пытаться переубедить их. Именно тогда я и проникся неприязнью ко всему, что меня окружало. Надоело жить во лжи, и было жаль потраченного времени. Открой я правду, все равно никто бы не поверил. Было лучше лелять ее как драгоценную и дорогую сердцу вещь.

Нам устроили такую встречу, что завидно стало бы и армии Македонского. Праздновали даже семьи, потерявшие из-за этого начинания своих близких, все как-то позабыли свои обиды. Если б и я мог заставить свою совесть замолкнуть, то чувствовал бы себя прекрасно. Нам не на что было жаловаться, Гамша сделал нас всех героями. Разве плохо было бы присоединиться к грандиозному пиру, устроенному в нашу честь в главном зале, гордо подняться по украшенной лестнице. Все выступили с замечательной речью, рассказали, что о причинах, заставивших помчаться куда-то на край света... Ведь так нам велел Гамша. Наши слова были полны пафоса, но лишены искренности. Примеряя похвалы, словно блестящие мундиры, и скромно потупив достойные головы, мы были готовы на новые героические поступки, лишь бы вызвать тот же резонанс. Наши заслуги были так велики, что никто бы не сумел оценить их по достоинству... Наконец на публику вышел сам Гамша, долго не смолкали овации. Его резкие слова раздавались в полнейшей тишине, как удары молота по наковальне: ведь Гамша затмил заслугами своего предшественника, его слава вознеслась выше тех вершин, с которыми мы воевали...

Посреди насыпи устроили небольшой сквер и придумывали одно развлечение за другим. Почему-то мне захотелось спросить про прежнего предводителя, о котором никто не вспоминал. Оказывается, его уже давно предали земле. Кафедра, за которой Гамша читал пространную лекцию о высоком назначении человека в этом мире, была устроена как раз на его могильной плите. И, если б возможно было пересилить печаль и слезы, все это вызвало бы смех.

Тогда я был молод и верил, что нас ждут лодки, привязанные у берега реки правды, только весла должны принести мы сами. Люди ведь зачастую начинают верить в то, что им повторяют, и их правда состоит именно в этом. Времена всегда менялись, но нам говорили, что они всегда одни и те же. Времена величественны и всегда принадлежали сильным мира сего. Время

похоже на огромную крепость, окруженную стеной, с которой сыпались старые поколения, замененные новыми.

Я уже знал, что однажды лунной ночью начнется половодье и эта мутная вода начнет разливаться, а я спущу большое бревно на воду и поплыву вниз по течению. Я и раньше видел, как в половодье течением уносило огромные вырванные с корнями деревья. Я больше не собирался оставаться здесь, у меня появились новые взгляды на жизнь, новые ценности. Надо было успеть уйти до того, как наступит летний зной: Гамша несомненно начал бы собираться в новый поход, чтобы уровень его героизма не падал. На этот раз причиной было бы жаркое солнце… Снова повторились бы слезы, расставание, калека с карманами, полными пшеном, под секвойей, чтобы не отгонять птиц, а наоборот привлечь их. Теперь он мог заниматься только этим, ему не нужно было делать метки на коре дерева, его бы никто уже не попросил…

Много воды утекло с тех пор, а я все вспоминаю события тех дней, пытаясь понять своенравный и непоколебимый характер Гамши. Интересно, как он собирался достичь цели, не имея в самом начале даже приблизительного представления о последствиях. Ведь мы там все застряли в прошлом и ничего не ведали об электричестве и других источниках энергии, которыми пользовался весь остальной мир. Это я начал понимать только теперь, живя как скромный беженец в цивилизованном городе, в котором и в голову никому не придет рваться в рукопашный бой с зимой. Они просто заранее готовятся к холодам и улучшают жизненные условия. Я уже давно покинул те края, и не знаю, что там и как, хотя часто тоскую по своему прошлому, и, бывает, сердце готово вырваться из груди… Больше всего меня возмущает неблагодарность: когда голыми руками несешь огонь в замерзшую родину, то к твоему возвращению должны быть приготовлены хотя бы щепки, ведь этот огонь жжет руки, а потом сжигает тебя всего, и это публичное и отвратительное жертвоприношение не приносит никаких результатов, оно никому не нужно. Поэтому я даже не пытался вернуться, это было бы бессмысленно. Гамша опять объявил бы меня погибшим, а он пользовался таким авторитетом, что мои земляки поверили бы ему, даже увидев меня живым…

Перевела с грузинского Анна ГРИГ

Карло КАЧАРАВА (1964–1994)

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОИ НОЧИ НАМНОГО ЛУЧШЕ ВАШИХ ДНЕЙ

мои ночи намного лучше ваших дней.
мы подобны кентаврам, сжатым губам
маленьких мистических клоунов,
книгам с бьющимися маленькими
белыми сердцами.
повышенное производство
мифологизированных названий явлений.
еще больше — пестроты, неохваченной зрением.
шатер из явлений, преобразившихся в небесных оленей.
и среди них — наш фатальный бунт-богема —
с пожелтевшими от садящегося по вечерам солнца
ножами, которыми режут наш хлеб-фураж из нервов.
единство плохих резателей хлеба с проклятием изольет безъязычие.
жизнь, несостоявшаяся из-за обреченности несостоявшихся,
ведет подсчет… один, два…
(один, сто, миллион).
ты — ни комета, ни снег.
я ненавижу все, что ненавижу. —
он был маленький и старый, как бог, в ночной витрине гранатового цвета,
а вокруг него метались туда-сюда игрушечные ангелы, которые были
еще меньше.
в глазах же огромных немецких овчарок,
застряв у них между зубами, — пахнущий оружием хлеб-фураж
полуголодающих, хлеб-фураж, который
даже не пробуют пожиратели того, что принадлежит будущим поколениям.
в шахтах в Южной Африке:
белые и черные шахтеры — одного цвета.

1993

ТЫ РОДИЛСЯ НЕПОДАЛЕКУ ОТ ПОТСКОГО ЭЛЕВАТОРА

ты родился неподалеку от потского элеватора,
в городе Нико Николадзе.
в соседней комнате с плохой репродукции
свисала улыбка Акакия Церетели.
то, что принадлежало тебе, съели пришедшие после них твои
бессмертные деды,
которые и теперь едят и запивают еду тостами за тебя.
тебя немного учили вежливости и благоразумию, больше —
лжи и высокопарности,
высокопарности, которой надо убивать,

которой надо высмеивать, с которой надо молиться,
чтоб заслужить право сидеть за одним столом
с бессмертными дедами, а не довольствоваться хлебом-фуражом
полуголодных.
не мечтай о шахте, где можно что-то найти,
ты должен отнимать у других от имени бессмертных предков,
так как и среди предков есть бессмертные и мертвые.
очевидно, ты догадался, что Игнатий Ниношвили,
Георгий Кучишвили, Котэ Капанели,
Валериан Гаприндашвили, Шалва Кармели и Тициан
— не твои предки.
позорно умирать от голода на земле Богородицы.
«Свадьба в Гурии» Шалвы Кикодзе создавалась не здесь.
«мать-Имеретия» — бедная старая женщина,
где-то вяжущая пряжу,
вспоминать ее хорошо только пируя за одним столом с дедами. —
с высокопарностью, с высокопарностью,
с высокопарностью,
теми словами, которых не знал Спиридон Мцыришвили,
теми словами, которые плохо понимали Илья, Габриэль, батрачащий поэт.
ты родился неподалеку от потского элеватора.
ты родился у моря.
ты родился у Палиастоми, рядом с трупом бедного врача, рядом
с романтической шлюхой,
рядом с бульварным фотографом, в дешевой столовой, которая
кажется раем сегодня.
тебя убаюкивал шум плохо оборудованного
поезда, следующего по маршруту «Тбилиси — Поти»,
и шум этот сегодня поистине колыбельная
для бродячих групп полуголодающих.
во сне ты видел Толстого,
Шварцнеггера, Белля и немного Гарсию Лорку.
там, где не стреляют, уже нет твоей родины.
«отец, отец, дай немного денег и возможность шататься по миру»
и не забывай о дождливых кладбищах западной Грузии,
моем небе, которое всю жизнь стараются отнять у меня свои».
ты не говорил этого, ты не спишь, ты с ружьем наготове,
ты — таможенник.

1993

АМЕРИКАНСКОЕ

вот американские джинсы хороши.
вот американские консервы хороши.
вот американские машины хороши.
вот американские дороги хороши.
никуда не годится — американская мораль:
она уничтожает сны и мечты спящих под мостом
посредством скользящих по мосту на машинах.
в американских фильмах дождь идет только
где-то за окном.
в американских фильмах всегда побеждает добро,

в американских фильмах гражданская война красива.
в американских фильмах — ужасная музыка.
в американских фильмах с катастрофической силой
упало число курильщиков:
в американских фильмах много пьют только «плохие» —
хороши — американские музеи, банки, офисы.
хороши — американские гостиницы.
хороши — американские побережья.
хорош — американский флаг.
хорош — «American Express».

1993

ВЕТРЕНЫЕ ЛЕТНИЕ НОЧИ

А
теряю это желание — как ночи.
какая-то длинноносая девушка играючи
танцует на рельсах,
поезд погружается в нее — как в туман.
в этом поезде сидишь ты —
путешественник между лунами.
на бедной, сожженной земле, на которой
Кифер сделал надпись: «моя земля».
а о луне маленький Лука Цецхладзе сказал:
«Самолет оставил в небе большой свет,
улетев без него».
Дженни Холзер сказала — как бы между нами:
«освободите меня от моих желаний!».
летний ветер отливает серебром на крышах.
в то время, как мы пьем коньяк у чужого подъезда
и считаем, что выведенная на прогулку шотландскую овчарка — наша.
уличная панорама.
и счастье, запертое где-то за окном.
но я теряю это желание — как ночи,
ночи, полные бреда, ругани и проклятий,
в которых полностью теряется способность к речи
и остается только волчья шерсть лунного цвета
на летнем ветру,
прозрачный для поездов танцующий Пиноккио —
женщина
и старый машинист,
который должен провести поезд сквозь другое серебряное пламя.

1993

НОЧНАЯ ЭЛЕГИЯ

мама, когда меня зазывают,
чтобы в очередной раз оскорбить,
я думаю о том, что у нас в доме почти ничего нет,
что богатые и бедные молятся разным богам,

и что он, в чьей машине сидела та молодая женщина, украл мое счастье.
хотя она (та женщина) так же несносна
до своей старости, как и после нее.
а надо мной смеются какие-то кардиналы с ружьями, — когда
я говорю о Жан-Поле Рихтере или Деблине…

1992

В КРАСНЫХ ВОЛОСАХ

я устал. твои красные волосы касаются моего черного пальто. я устал.
я могу испачкать зеркало зеленой краской или
подождать тебя на другой стороне моста.
старая книга летит и попадает мне прямо
в затылок,
когда цепляюсь за перила, и река подо мной — как
каменная мостовая — ложе злонравной смерти;
больные подражают ангелам и протягивают руки к окну, а настоящие ангелы, с керосиновыми лампами в руках, наблюдают за ними из того же окна.
птицы умирают на дне неба. я устал.
ты похожа на куклу.
я не трогаю зеркало — оно все равно лжет нам:
ты в нем не похожа на лошадь или цветок, и у тебя красные волосы.
дирижабли, птицы и дирижабли над ночными фонарями:
наши постели отливают серебром,
твой обнаженный живот, грудь и ноги
спят в одной из комнат.
дирижабли, птицы и дирижабли над ночными фонарями;
для чего он жил? для чего состарился? и откуда прощался с нами?
он похож на старого пса, заснувшего у могильного креста, и на меня,
зарывшегося головой в твои красные волосы.

1985

ПСАЛОМ

то, что я сегодня защищаю — мой пантеон,
в нем все мое бессилие и лишь поражение.
отец, поражение — единственный путь к тебе,
ты не улыбнешься, давая мне прощение, —
надеяться на это было бы дерзостью с моей стороны,
но, когда я овладевал чьей-то плотью
(всегда посредством обмана),
когда я женским проверял свое,
и постоянно чувствовал себя виноватым,
и кто-то поднимался со мной по темной лестнице
в подъезде со своим недорогим свитером
на моих плечах, —
как мы любили друг друга, —
я вижу также оставленный мной след в этой галерее мира, галерее,
которая вливается в общую неизведанность грязью молчаливой ветхости.
вижу свое умирание, превращающееся в ветхость,

видоизменившееся сожаление
о грустных встречах во сне:
отец, я горжусь, что я — твой сын,
где-то оступившийся и упавший,
не сожалеющий и не растерянный.
и я всегда должен был говорить то,
о чем молчат,
что несут без благодарности куда-то не за пределы одной, а всех дорог,
где снег, и боль, и рыдания улыбающихся сохранят
среди синих домов облик ночи
— для пришедших после нас.
хотя им и не следует много знать. —
но, — о, золото воспоминаний,
ясновидящие христианских катакомб —
ясновидящие будущих воспоминаний, будущей печали,
после вас — неужели же кто-нибудь мог понимать
— хотя бы то, к чему вы прорастали.
уже будучи здесь.
я вижу венки из потонувших в море голосов,
я вижу — расстающихся на мостах,
вижу рыдающих в разных комнатах,
вижу видящих сны и их прощание,
где-нибудь, в каком-то светлом доме,
мы все соберемся на ветру
и безлунной ночью будем ждать дня прощения.

1988

НОЧЬ, НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ РЕСТАВРАЦИИ

они не являются: ни чернорабочими, ни карликами,
ни людьми из «Моссад»,
ни пьяницами, ни олимпийцами, ни цензорами,
ни операторами, ни брокерами, ни таксистами.
ну и что.
ну и что, что их убивают.
ну и что, что они улыбаются друг другу.
ну и что, что играют на музыкальных инструментах.
ну и что, что играют в игры.
ну и что, что занимаются разглядыванием.
ну и что, что едят, ну и что, что просыпаются.
за пределами не подлежащих реставрации ночей.
с розовым кораблем из фарфора на фоне нарисованных облаков.
поэты-декаденты сочиняют манерные кончины
намного раньше этих событий.
там, где встречаются и расстаются друг с другом:
брокеры, таксисты и призраки.
потому что никому не нужны спящие
темно-фиолетовые обезьяны.
никому не нужны ваши информационные программы.
никому не нужны ваши комментарии, ваша забота,
ваша заинтересованность,
ваш голос.

потому что:
это асоциально и аморально.
это абсурдно и подозрительно.
это угнетает. это бездарно.
это неоправданно, это уродливо, это просто.
тебе
приснились все газеты, которые ты когда-либо читал.
тебе
приснились все твои завтраки.

1992

* * *

среди нас:
у кого-то есть время ходить в дом кино на фильмы Жан-Люка Годара.
среди нас:
у кого-то есть деньги покупать французский каталог ретроспективы
фильмов Жан-Люка Годара.
среди нас:
кто-то живет без малейших проблем и потому
жалеет уличных собак.
среди нас:
кто-то так богат, что пьет водку на улице.

среди нас:
все они так наивны,
что думают, будто уже не живут в этом городе.
среди нас:
все все знают.

1993

Перевела с грузинского Анна ГРИГ

КНИЖНАЯ ПОЛКА АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

Ги ГОФФЕТ, «Прорыв к Лауре». Перевод с французского
М.: «Комментарии», 2012

У нас сейчас не так много переводят иностранной литературы, так что даже скудные публикации зарубежных авторов дают, как правило, обильную пищу для размышлений. Я давно люблю французскую литературу, и даже считаюсь чем-то вроде «франкофила» в русскоязычной поэтической среде. Ги Гоффет приезжал в Россию, у нас переводились его стихи, поэтому тоненькую прозаическую книжку данного автора, изданную у нас в рамках культурного обмена, я встретил с нескрываемым интересом.

Скажу сразу: язык Гоффета меня разочаровал. Даже с учетом погрешностей перевода. А ведь раньше французские писатели блистали изяществом речи, тонкостью стилистики, и это всегда выгодно выделяло французскую литературу. Откройте любую страницу Ренье или Монтеня. Чтобы писать не многословно и многослойно, нужен великий дар рассказчика. И безупречное владение языком, на котором пишешь. Иначе читатели могут не простить писателю многословия.

Подобно дез`Эссенту, герою романа Гюисманса «Наоборот», Ги Гоффет все делает наоборот: вместо «вступления» пишет «отступление», вместо краткости и точности предается безостановочному словоблудию, пытаясь на этом «новом» пути поймать свою птицу литературно-философской удачи. Поток сознания Ги Гоффета представляется мне «дикарским» даже в сравнении с произведениями Лотреамона и Сен-Жон Перса. Насколько я понимаю, Ги Гоффет нарочно вываливает на читателя весь этот словесный мусор, демонстрируя нам, из какого сора растут стихи, идеалы, шедевры и просто новое понимание. Лаура — это квинтэссенция писательского стремления к Замыслу. И, чем больше суеты и мусора наводняет мир, тем сложнее поэту «продраться» к своему идеалу, к своему роднику. Книга Ги Гоффета «Прорыв к Лауре» демонстрирует нам такого рода духовные поиски.

Людмила ОСОКИНА, «Кофейная девушка»
М.: «Время», 2012

Образ Людмилы Осокиной невозможно «оторвать» от образа ее мужа, поэта Юрия Влодова. Как невозможно представить Зинаиду Гиппиус без Дмитрия Мережковского. Влодов и Осокина воспринимаются мною на контрасте: грубовато-мужественный Влодов и нежно-загадочная Осокина. Но есть одна деталь, объединяющая, при всей их непохожести, поэтов Влодова и Осокину: они всегда осознавали, чем можно «сразить» читателя. Поэт обязательно должен иметь свою «визитную карточку»! Не случайно Людмила Осокина назвала свою книгу «Кофейная девушка». Именно это стихотворение

было раскручено в последние годы совместными усилиями автора и читателей — как «коронное». Хотя далеко не факт, что оно — самое сильное.

В поэтике Людмилы Осокиной явственно слышатся нотки Игоря Северянина. Стремление к изысканному импрессионизму. Лирическая героиня Осокиной любит кофе, кошек и ночи, в их темном (московском) варианте. Эта страсть к изысканно-черному растянулась у героини Осокиной на долгие годы, стала элементом постоянства, перешедшим в привычку. В поэзии привычка замечательна тем, что позволяет автору глубже взглянуть на предмет своей любви. Людей любить сложно, зато любовь к животным всегда выигрышна в «общественном мнении»: какой добрый человек! Он любит кошек!

Кошка, бродящая в ночи,
Окнами прошедшая случайно…
Ты, при свете меркнущей свечи, —
Тайна…

* * *

Я видела, как она ступала по ночному небу
Своими мягкими черными лапами,
Как она окуналась в бархатную черную негу
И любовалась звездными лампами…

Кошки Осокиной «схвачены» автором так же основательно, как и тигры Блейка. Книга «Кофейная девушка» — это избранные стихи. Лучшие стихи выдвигают поэта на соискание признания. Героиня нежится «на пляжах Альдебарана», вдыхает «аромат магнолий». Северянин бессмертен! Но иногда в малых формах, тяготеющих к классической японской поэзии, у Людмилы Осокиной проступает «неслыханная простота»:

Когда-то
мы бродили с тобой
счастливые
по небу…

Теперь
бродим несчастные
по земле.

Стихи разных лет, вошедшие в новую книгу Людмилы Осокиной «Кофейная девушка», написаны на хорошем уровне поэтического мышления. Причем это мастерство, судя по датировкам стихов, было у Осокиной еще до знакомства с Юрием Влодовым, которое перевернуло всю ее жизнь.

Светлана ОС, «Слово, сказанное никем»
М.: «Парадиз», 2012

…в тесном своем чертоге
За линией межевой
Я скрылась от тех немногих,
Кто знали меня живой…

Новая книга стихов Светланы Ос «Слово, сказанное никем» — это повесть об измененном сознании, о «жизни после смерти». Следует уточнить: после маленькой смерти. Иначе говоря, это — жизнь после предыдущей жизни. Или, если угодно, смерть после жизни. Смерть как состояние длящееся — и в чем-то, возможно, даже динамичное. Собственно говоря, «жизнь» и «смерть» — это лишь слова, не всегда точно обозначающие сущность происходящего. В одном из стихотворений сборника Светланы Ос мы находим более точную формулировку — «точка невозврата» между «до» и после». За этой точкой и начинается, по выражению Данте, vita nuova. Однако, «новизна» обретенной жизни нисколько не свидетельствует о ее хорошем качестве. А ведь любую жизнь судят, прежде всего, по ее качеству, постигают в сравнении. Типичные сюжеты о «новой жизни», как правило, радостны: это — обретение после потери. У Светланы Ос — все наоборот: новое, приходящее, всегда хуже старого. Исхода — нет, прогресса — не существует. Надо готовиться к худшему.

Всему свой срок. Всему свои места.
Как страшно в центре ветхого моста
Стоять и знать, что все обречены,
Что шаг вперед и шаг назад — равны,
Что этот мост и есть — конец пути:
Не оступиться и не перейти.

Светлана Ос пишет мастеровито, со вкусом и знанием дела. Другой поэт вряд ли смог бы сочетать в своем творчестве чисто механические «поздравлялки» к юбилеям с пронзительной и вовсе не праздничной лирикой. Светлана Ос — смогла. Словно бы доказывая читателям, что она и есть та самая загадочная Амфисбена, которая обладает способностью двигаться одновременно в прямо противоположные стороны, нисколько не теряя при этом ни цельности, ни сущности, ни своей природы. Другое дело, что лик Амфисбены у лирической героини двойствен, подобно лику Януса. Стихи Светланы Ос наполнены глубокой философией, которая переживается героиней, как мистическое откровение. «Покуда одно затмевает все, замена всему найдется». «Что не живет, тому не умирать». «Для нас все хорошее впереди, потому что иллюзии — наше все!». «Паденье вверх больней паденья вниз».

Лирика Светланы Ос имеет ярко выраженный готический привкус. И это, несомненно, новое явление в русской поэзии.

А их минотавровый остров Крит
Даст фору твоей дыре,
Где свет за тоннелями так горит,
Что лучше бы не горел.

Книга Светланы Ос трогает читателя исповедальностью белой вороны, «иноходца», человека, настолько не похожего на других, что эта непохожесть ранит и его самого, и окружающих. Но стихи лучше пишут те, кто остался в меньшинстве. Или в полном одиночестве.

Александра КРЮЧКОВА, «Верите ли вы в призраков?»
М.: «Литературная республика», 2012

Лирические новеллы Александры Крючковой никого не могут оставить равнодушным. Они повествуют о самом уязвимом и хрупком в судьбе человека — становлении и распаде отношений между мужчиной и женщиной,

о разных ликах посю- и поту- сторонней жизни. Рассказы Крючковой совсем небольшие, странички две, не больше, но как много переживаний выпадает на долю их героев! Писательница использует эффект «детективной» концовки: все, как правило, заканчивается не так, как предполагает читатель. И высший пилотаж драматургии этих рассказов — когда одна эмоция «перебивает» другую и переворачивает исход. Перевернутый исход вызывает у читателя подчас прямо противоположные, зашкаливающие эмоции.

Вторая и третья части книги написаны в духе мистических триллеров Эдгара По. Только в наше время призраки появляются не в старых готических замках, а, например, в фешенебельных офисах известных фирм (рассказ «Письмо»). Видите ли, им, призракам, абсолютно все равно, где появляться. Антураж помещения нисколько их не интересует. Они, как и в произведениях минувших веков, привязаны духом к помещениям, в которых погибли. Хотя, по правде сказать, мне больше по душе рассказы без «потусторонней» жизни — «Пианино», «Кошачье имя», «До завтра». Все без исключения новеллы Александры Крючковой написаны на высоком художественном уровне повествования и драматургии.

В творческой биографии Крючковой — много удивительного. Стихи и прозу она начала писать в 11 лет. И не просто начала — некоторые новеллы, написанные Александрой в 14 лет, вошли в книгу рассказов, о которой идет речь в моей заметке. Об этом свидетельствуют датировки под произведениями. Рассказы не просто «вошли» в книгу, а заняли в ней достойное место. Давние произведения вундеркинда Крючковой, вошедшие в ее сборник, написаны рукой мастера. А еще говорили, что новых Лермонтовых у нас больше не будет — виною тому якобы «медленное» взросление современной молодежи. Как бы не так! Когда читаешь рассказы Александры Крючковой, не возникает даже мыслей о том, что они написаны девушкой-подростком. Я думаю, что столь раннее взросление Крючковой, как и в случае с Лермонтовым, вызвано преждевременной кончиной обоих ее родителей. Трагическое сиротство не могло не сказаться на детской психике. У Александры Крючковой это вылилось в неподдельный интерес к потустороннему миру. Драматизм жизни рано вошел в ее душу. Как и в случае с Лермонтовым, все узнали про вундеркинда Крючкову «задним числом», когда она уже выросла и стала известным поэтом. В книге «Верите ли вы в призраков» представлены рассказы, написанные Александрой в юном возрасте. Они и сегодня не утратили своей первозданной ценности. А все-таки жаль, что в девяностые годы прошлого века стране было наплевать на гениальных своих детей. И что ранние рассказы Александры Крючковой опубликованы только через два десятилетия после того, как они были написаны.

Инна ИОХВИДОВИЧ, «Страсти и страхи женщины»
М.: «Вест-Консалтинг», 2011

Тонкая, психологичная короткая проза Инны Иохвидович вызывает у меня восхищение. Блестящий язык, великолепная драматургия рассказов, удивительные сюжеты... Писательница — мастер своего дела. Книга рассказов Инны не столько «откровенна», сколько необычна предельной авторской искренностью. Женщин, подобных героиням Иохвидович, способных вспыхивать необузданной страстью к первому встречному, не так много. Но литература часто интересуется не типажами, а исключениями из общего правила. Теперь мы знаем из рассказов Инны, что одиночество темпераментной женщины не похоже на другие виды женского одиночества.

Инне Иохвидович удалось несколько раз меня удивить. Я начал читать с первого и последнего рассказа и невольно воскликнул: «Какая чистая, пронзительная лирика!» Подумалось, что и другие новеллы написаны в аналогичном ключе. Но рассказы, составившие книгу «Страсти и страхи женщины», оказались очень разными. До мурашек пробрал рассказ «На углу» — о круговороте судеб в природе и конечном торжестве доброты в очерствелых душах. И о том, что за все приходится в жизни платить по разным счетам — чаще всего своей собственной жизнью.

Проза Инны Иохвидович — «умная», хорошо сбалансированная и драматургически выстроенная. Ничего лишнего! Меня, правда, немного покоробил «всему миру угрожающий СССР», но, в конце концов, мысли автора могут «не совпадать» с мыслями его героев. А уж мысли читателя — тем более! Тема еврейского геноцида подана автором «Адольфины» нетривиально и лирично. С болью о прошлом и тревогой о настоящем. Казалось бы, при чем тут страхи женщины? Но, оказалось, у женщин могут быть и чисто «национальные» страхи! И различных страхов у женщин намного больше, чем у мужчин. Объясняется это не только женской слабостью, но и женской прозорливостью, интуицией, умением тонко чувствовать. Героини Инны Иохвидович порой страшатся вещей, казалось бы, совершенно беспричинных. Но проходит время, и впоследствии оказывается, что они способны провидеть свою судьбу на много лет вперед! Страхи у женщины идут либо от предчувствия, что за поворотом ждет беда, либо от повторения негативных эмоций в одних и тех же обстоятельствах. Женщина доверяет своей интуиции и, если получила пару раз по голове в одном и том же месте, больше туда не пойдет, даже если это было случайным совпадением. Она не верит в случайные совпадения. Но, хотя страхов у женщин неизмеримо больше, чем у мужчин, они могут удивлять нас и беспримерным бесстрашием в чем-то другом. Например, в борьбе за свои чувства. Тут нет противоречия, все это цветущее разнообразие «мирно» уживается в душе любой женщины. Как тонко подметила Инна Иохвидович, страсти и страхи у женщины часто вытекают друг из друга.

Писательница находится на самом «острие» жизни, поэтому ее героям сопереживаешь, как родным и близким. «Откровенность» прозы Инны, на мой взгляд, не в том, что она лихо оперирует сексуальной терминологией, а в том, что в споре семейной жизни и романтических приключений ее герои решительно берут сторону страсти. Именно таков, на взгляд автора рассказов, истинный лик любви. Романтика у Иохвидович — это как раз любовь под грифом «совершенно секретно». Как правило, это не природная распущенность героинь, а «зов природы» — самка по каким-то неуловимым признакам узнает своего самца. Персонажи Инны Иохвидович воспринимают это узнавание как вершину земного счастья. И не беда, что покупается счастье ценой предательства тех, кто «остался позади». Влюбленная женщина так не считает. Она отвечает на зов сердца — и идет, летит за своей звездой. Абсолютно не думая о последствиях подобной необузданности! Однако книга Инны Иохвидович — это отнюдь не проповедь безнравственности. Это — драматургия развития отношений в семье и за ее пределами, поиски лучшей доли. Это — исповедь женского сердца. Природный зов плоти — внезапен и внеморален, особенно тогда, когда плоть женщины действует заодно с ее душой.

Сергей БИРЮКОВ, «Звучарность»
М.: ОГИ, 2013

Президент Академии Зауми, литературовед и поэт Сергей Бирюков выпустил сборник стихов, лишний раз доказывающий, что в эпоху постмодерна модернистский проект русской литературы может не только жить, но и успешно развиваться. Впрочем, это развитие имеет свои специфические особенности.

Поэзия Бирюкова являет собой редкий пример простоты и прозрачности, спокойной демонстрации приема, вроде: плы через стра. Все как бы очевидно и лежит на поверхности: разрыв слов, переносы, обрывки фраз, летящие по своей траектории синтагмы. И из этого языкового облака кристаллизуется ядро, рождается стих. Своеобразные футуробъекты или предметники, говоря более понятным языком. В свое время ими занимались Соковнин, Холин и Некрасов.

На первый взгляд такого рода стихи кажутся достаточно плоскими. Ну, скольжение по поверхности. Как с горки катишься, смотришь туда-сюда, свернешь налево, направо, опять прямо. Но у этой картинки есть своя логика и своя глубина. Ведь пока мы глядим на ель или пригорок, мы движемся в определенном ментальном поле и проживаем это мгновение именно так, именно сейчас.

Стихи Бирюкова еще интересны тем, что визуальная картинка оживает, речь начинает звучать. Собственно, потому сборник и назван «Звучарность», что написанное слово в какие-то моменты приобретает объем, становится звучащим. И мы имеем дело с «говорной поэзией». Потом эта иллюзия звука пропадает, но в каких-то новых строчках речь опять перетекает в звук. Можно сказать, если пользоваться известным образом Платона, что представленные тексты — только тени тех образов, которые можно увидеть за пределами пещеры. Кто слышал авторское чтение, тот знает, насколько разительно отличается написанная версия от версии звучащей. Впрочем, сам Бирюков называет свои книги партитурами и считает, что реализация поэзии происходит в голосе, в звучании.

«Звучарности» Бирюкова помогает чужая речь. И вкрапленная местами польская, и немецкая, на которой написаны отдельные тексты. Бирюков уже много лет живет в Германии, преподает в университете Мартина Лютера. И это обстоятельство влияет на особенность его литературной походки.

Он то идет по направлению к критике, к анализу: «Знак равенства в пространстве искривленном/не равен сам себе». То по направлению к прозе: проза оказывается встроенной в стихотворную матрицу. Поэзия начинает жить на границе стиха и прозы, впрочем, долго на этих границах не зависая.

Автор — созерцатель процесса. Русский европеец, не позволяющий неполиткорректных жестов, ранящих слов. Интересно, а остались ли такие слова, и как их использовать в поэтическом контексте? Наверное, остались.В принципе, слов-табу в поэзии быть не должно. Именно на этом настаивали конкретисты. Игорь Холин в свое время написал целую поэму «Х_й», состоящую из разных вариаций и повторов матерного слова. Но, тем не менее, такие эксперименты могут выбросить поэта в непривычное пространство, где поэзии неуютно. Такие выбросы связаны не только с цепляющими словами, но и с высоким штилем, например. У Бирюкова есть стихи с религиозным контекстом, но они очень аккуратно вылеплены, чтобы, не дай Бог, не оказаться в ситуации пафосного говорения.

на улице
где Христос
был сброшен
вниз на груду щебня
так лежал взывая
я бросаю монету
чтобы вернуться

И низкий штиль может убить поэзию. (В постмодерне об этом и речи не идет, поскольку нет ни низкого, ни высокого, но мы говорим о конкретном модернистском проекте.) Однажды в Ярославле я посетил туалет с табличкой «музей». То есть это был обычный туалет, но в прихожей выставили несколько старых унитазов и повесили с десяток фотографий мест общего пользования. Почему? Музей, по закону, не имеет права брать с посетителей плату за удобства. А так, поскольку образовалась еще одна выставка, посещение ее стало платным.

Бирюков брать деньги с посетителей своего виртуального музея не намерен. И вообще он держится пространства культуры, вменяемых, читаемых культурным сообществом жестов. Без всяких ярославских придумок. Считается, что футуристы первой волны и скандалили, и обижали публику ничуть не меньше нынешних акционистов. На самом деле это не совсем так, а в случае с Хлебниковым, Гуро, Лившицем, да и Каменским, да и Маяковским даже, — совсем не так. Задирались обычно Давид Бурлюк, Алексей Крученых. Бирюков как историк и теоретик авангарда неоднократно писал и говорил о различных стратегиях в авангардном искусстве. Обращаясь к текстам исторического авангарда, взаимодействуя с ними, он буквально оживляет, вживляет их в сегодняшний день. Достаточно вспомнить его работы о литографских книгах Крученых и Хлебникова, аналитику хлебниковских «бобэоби», работу с железобетонными поэмами Василия Каменского, с текстами Маяковского. Кое-что из этого можно найти в интернете (смотреть можно здесь :

http://www.youtube.com/watch?v=R3-qxMePjeY

и здесь:

http://www.youtube.com/watch?v=nkflv1Ebz9E

и далее…).

В поэтических текстах Бирюков реконструирует и усиливает ряд приемов, которые не были до конца отрефлексированы в историческом авангарде. Наиболее характерные примеры — «Лилутавения по Елене Гуро» и текст под названием «Реконструкция». Бирюков взаимодействует не только с отечественным авангардом, а и с западным («На могиле Аполлинера», «Стрекоза на лбу Бретона», «В доме Магритта»). Он входит в спокойствие музея и кладбища (такие кладбища, как Пер-Лашез в Париже и Новодевичье в Москве, можно рассматривать в музейном аспекте) и буквально поднимает спящих к действиям в современном художественном пространстве. Может быть, в этом главная особенность модернистского проекта современной культуры: настоящее и прошлое, прошлое в настоящем, выстраивается единый пространственно-временной континуум:

невозможность
невозможность стихов
как невозможность
вот этой библейской девушки
на улице дизенгоф
в прозрачной униформе

(Это из текста Бирюкова, контактирующего с творениями ивритского авангардного поэта Давида Авидана.)

Стих, сотканный из душевных переживаний, из сгустков энергии, сегодня превращается (в глазах некоего условного читателя) в не очень-то нужный, но иногда занятный предмет. И в этом превращении — правда жизни. Стихи сегодня существуют наравне с сувенирами для туристов, такими штампованными игрушками за один евро. Но вообще это не специально сегодняшняя ситуация, а вполне обычная. И поэтический авангард как раз врезается в эту обычность своими невозможными стихами.

Я уже упоминал о том, что Бирюков называет свои тексты партитурами. И он их озвучивает сам. Дело в том, что в современном сильно звучащем мире поэзия действительно заглушается. В самих поэтах по этому поводу растет вполне оправданный скепсис. И нужен своего рода новый голос для преодоления скепсиса. Чтобы не впадать в излишний пафос, заключим наши заметки стихотворением «Трудно быть» из книги «Звучарность». Оно посвящено известному московскому визуалисту Саше Бабулевичу:

трудно быть гениальным
это вам не то что то что
это вам не охо-хо-хо
это не ух-ху-ху
и в то же время
легко
гениальным
быть
легко
вот так
лег
и ко
а вы говорите
это трудно
быть гениальным
трудно
если легко
а тык восоко!

Борис КОЛЫМАГИН

Вадим ГРОЙСМАН, «Vita»
Иерусалим, 2013

Неприметный конверт с тонкой книжицей пришел вскрытым — ну да, Израиль не Вологодщина. Зато сразу ясно, что из Петах-Тиквы прислали не «белый порошок», а 80 страниц давно обещанных стихотворных проделок с участием Азазеля, древней Хавы, «извечного Моцарта молодого» и других героев. И чуть намокший от морозного пара замерзшей Кубани сборник стихотворений Вадима Гройсмана уже в почтовом ящике оплавил изморозь снаружи — по-февральски разогретыми песками мест, откуда приехал, ироничными парадоксами раскрывшихся страниц. Ни с чем не спутаешь речевые узоры автора, любимого и знакомого.

Человек рожден пустоты глотнуть,
Выиграть судьбу в крапленого дурака,

И любая вита — как млечный путь:
Золотые реки черные берега.

Несколько попыток сходу написать о его стихах не удались. Потому что это как несколько жизней увидеть разом. Автор и сам об этом знает не понаслышке, «Трижды вошедши в воду — вышедши из воды».

К стихам Гройсмана на боевой козе не доскачешь, не поможет ни наблюдение томиков Чосера с Гомером на книжной полке, ни ветхое знание Ветхого Завета. В немногословных текстах переплавляются коллизии разных времен, отстоящих от читателя событий — пропастью от десятилетия до многих веков. И все же не мешает такой мультикультурный сплав в спокойно проговариваемых строфах восприятию современником, будь то лаконично изложенные канонические катастрофы — Иерихон, Исход, либо очень несерьезные ассоциации с недавними войнами:

Можно еще пожить, пока до дверей квартирки
Доползут, будто танки, огромные тараканы.

Не будем забывать, что автор живет рядом с Иудейской пустыней. Он и сам порой как пустыня в себе, но чаще сдержанные поэтические высказывания до предела наполнены глубоким смыслом, выразительны и метафоричны. И пишущий «в миндальном феврале с ноябрьскою пчелой» поэт дарит, например, совсем не южное видение зимы:

Земная кровь ледяная, земная вода
Еще сольются вместе в котле зимы.

Пишет как бы вполголоса, без морализаторства и нажима, но застреваешь над прочитанным, отыскивая речевые самородки, навроде «минерала умирала». Даже не поэту рецепт будет понятен:

Помажем раны умиралом —
И все срастется до утра.

А если ты поэт, и если не срастется — голос «оттуда» не обманет:

Я сжег черновики: порвал и сжег.
Как будто совершил мучительный прыжок.
А голос из огня ехидно говорит:
«Не все поэзия, что рвется и горит!»

Размышления о назначении и ответственности поэтического слова проходят через весь сборник стихов «Vita».

Свет одинаков и суров
И тьма проста.
Я глянул в сердце этих слов —
Там пустота.

Или как в первом стихотворении, вместо предисловия:

Штурмуй назначенную высь,
Нанизывай слова на струны,
Стучи разбойным молотком.

Слово требует кропотливой работы с ним, в противном случае «И смыслы не твои, и музыка не та — усмешка языка над вывертами слога».

Гройсман отдает творчеству личные сомнения, упорный труд, многолетний опыт и, безусловно, талант. Сам поэт не приверженец модных игр с лексикой, синтаксисом. Пишет в классическом ключе, понятным языком, не всегда простыми метафорами.

Редко без заглавных букв и знаков препинания, верлибры единичны. Зато богаты его стихи отсылами к историческим фактам и мифологии. И иногда к иным, легко угадываемым поэтикам:

Но право умирать обдумаю,
Последней воли попрошу.

Не супа и не каши гречневой
И не похмельного питья —
Бессмысленного, бесконечного,
Безудержного бытия.

Традиционный, требовательный подход к стихосложению отнюдь не чужд своеобразной авторской иронии, порой даже на очень серьезные темы. И поэт оттачивает каждую строфу при этом до глянца. Песком ли рядом дышащей пустыни, врожденным ли чутьем? Кто его знает, но тексты играют и переливаются, и читать их легко.

А ведь перед нами и картины Иудеи, Галилеи, и горные цепи Израиля, библейские сюжеты и мифические существа, прямые обращения к бессмертным авторам и историческим личностям. Полиник, Тассо, Лаван Арамейский, святой Себастьян, Камю, Пруст, Кафка, Гессе, Овидий…

На месте поэта переезжать с бессмертными книгами — словно прикоснуться к их бессмертию.

Камю Кафка Пруст Джойс
В обратном порядке вплоть до Гомера
Я все вожу их с квартиры на квартиру
И все надеюсь прочесть

Ровно с этого однажды началось мое знакомство с автором и его стихами. С объявления в сети о раздаче стареньких покетов Джойса и Диккенса. Те книги не доехали по объективным причинам. Зато предыдущий и, особенно, нынешний сборник стихов «Vita» — вот они. Открываем и наслаждаемся. Особенным видением природы, мягким и грустным самоощущением, насмешливыми экскурсами в личные переживания и озорными играми в героев гройсмановских «short stories». Как в солдатиков (в кукол) в детстве…

Путь от поэта к читателю бывает разным. Вадим Гройсман его с успехом преодолевает, и эти его стихотворения, не сомневаюсь — найдут отклик в сердце каждого, кому дорога русская поэзия.

Александр ПАВЛОВ

Анна САЕД-ШАХ, «Современная тетка»
М.: «Время», 2013

Публикация любой книги — это событие. Вопрос лишь в том — какое? Социальное, касающееся исключительно автора с его родственниками

и друзьями? Или все же литературное, когда его участником становится каждый, кто взял книжку в руки?

Новая, четвертая по счету, книга Анны Саед-Шах — «Современная тетка» — безусловно, относится к ярким литературным событиям последних лет. Вопреки названию, она выходит далеко за рамки и чисто женского, и сиюминутного, современного.

Особая авторская интонация, точно подмеченная в предисловии Евгением Рейном, достигается, в том числе и за счет предельной открытости. (А послесловие к этой книге — последнее, что написала прозой замечательный поэт Инна Лиснянская). Мы забываем про мастера, сочинителя и видим человека — ищущего, борющегося и страстного.

…Успокой мое сердце, скажи — я хорошая, правда?
Мои дети со мной, и сама я напрасно дрожу.
Дай под солнцем согреться,
а большего — больше не надо, —
я другою не буду и деток других не рожу.

Эта книжка рассчитана на широкую аудиторию. Да-да, ту самую, которой, дескать, ничего не нужно, и которая, якобы, ничего не понимает. Автор говорит с людьми, а не только с коллегами по цеху.

Внятные, образные, емкие, это стихи поэта с ясными мыслями и зрелыми чувствами. Подобное было (и будет) редким явлением в поэзии. Ведь чтобы сказать доступно о важном, нужно очень спокойно относиться к собственной правоте. Многим ли это под силу? Потому так нечасто мы можем повторить вслед за классиком: «вот стихи, а все понятно, все на русском языке».

Кроме того, «тетка» являет здесь не худшие мужские качества — разговор с читателем заканчивается сразу же с истечением поэтического вещества. Никаких «бла-бла-бла», несмотря на заявления о современности.

И опять с победами борюсь,
и потери в землю зарываю.
Господи,
я так Тебя боюсь,
что любить от страха забываю

— вот и весь стих, но за ним — философия, характер, судьба.

Еще одна особенность, на которую поневоле обращаешь внимание — стилистическое разнообразие. Рифма, верлибр, короткая, длинная строка — возможно все. Каждое стихотворение само выбирает, в чем ему выйти в люди. И когда они собираются вместе, читатель попадает на поэтическую феерию, карнавал. Именно поэтому, как бы громко ни звучали порой в книжке боль, страх, отчаяние, она оставляет ощущение шумного праздника, дома, построенного из окон, где за каждым — живая картинка, рассказанная по-своему.

При этом Саед-Шах, являясь состоявшимся поэтом, «теткой» быть не перестает — читатель, ориентирующийся на название, не будет разочарован.

Давно женщина в русской поэзии не являлась настолько мощно, зримо, убедительно. Представая во всей своей неоднозначности и становясь при этом понятней, ближе.

Маленькой скоро стану опять,
девочкой с тонкой противной косичкой.

Будут дочки мои меня опекать,
как дочку родную, как певчую птичку.
…
…Пошли им терпенья меня не предать,
займи доброты и безумия дерзкого.
О, дай им безумья! — с улыбкою ждать,
когда я из платьица вырасту детского.

Это одно из центральных стихотворений в книге. Мужчины там нет. Все без него — рождение, смерть и то, что между ними — «опекать». Он занят своим, не менее важным, но в качестве повседневной, бытовой опоры не годится.

Но это — только с одной стороны. Обращаясь к Богу, женщина не может не признать, что «здесь, у меня, всего лишь — Ты да он».

Потенциал этих разнозаряженных истин создает в книге сильное и неослабевающее напряжение. Жизнь «современной тетки» выглядит настолько сложной, что у (семейно) благополучного читателя может вызвать ощущение драматической избыточности. Любовь здесь неотделима от разрыва, родство — от принципиальных разногласий. Поэтому если папа, то, скорее всего, бросил, если муж, то, почти наверняка, пьет. Причем, обладание даже этим — весьма нестабильным — активом реализуется в жесткой конкурентной среде:

Притворился дураком —
муж мой ходит женихом,
и бегут невесты:
где тут свято место?

Алкоголь вообще играет в книге весьма заметную роль. Это главный женский враг, стоящий чуть ли не вровень со смертью.

Она ненавидела его — пьющего.
Он ненавидел ее, ненавидящую его пьющего.
…
Она мечтала встретить такого… такого же… но совсем другого,
чья любовь стала бы выше даже граненого стакана.
Он мечтал встретить такую, такую же, но совсем другую,
чтоб любила бы их обоих — его и стакан.
…
Так и жили они припеваючи
…
покуда совсем не умерли.

Однако при всех попытках «отучить от стакана», у того не отнять важного преимущества — способности вывести за круг земной повседневности. В то время как женщина, начиная с определенного момента, становится неизменным составляющим этого круга. Что с этим делать — непонятно. Пока же «тетки меньше пьют —/и поэтому, дуры, чаще стареют».

Об этой книге с провокационно-немудрящим названием можно и нужно сказать то, о чем мечтает услышать автор любого поэтического сборника. Она стала поэтическим фактом, то есть уже присутствует в русской поэзии, независимо от того или иного к этому отношения. А все потому, что именно поэзия является главной героиней этой «женской» книги.

Это особенно заметно, когда автор позволяет себе (а, значит, и читателю), забыть о гендерных расхождениях, оставаясь лириком в чистом виде:

Мелкий дождь косил под ливень,
правый глаз косил налево,
пьяный блеф косил под правду
и под булку — отрубя.
Только смерть косила честно —
всех косила под себя…

И мы снова убеждаемся — поэзия выше мужского-женского, потому что объемлет все. «Тетки», «дядьки», «современные», не очень — есть вещи и поважнее. Любовь, смерть, надежда, предназначение. В новой книге Анны Саед-Шах все они становятся нашими собеседниками.

Арсений АННЕНКОВ

Александр ПЕТРУШКИН, «ОТИДО: Черновики 2011–2013 гг.» Кыштым — Челябинск, «Издательство Марины Волковой», 2013

Здесь будут осиные гнезда, просевшие звезды, замерзшие ангелы, испещренная ходьбой карта внутреннего Урала и прочее движение от себя к себе, то есть, собственно поэзия — со смертью, любовью и жизнью вперемешку.

Речь об Александре Петрушкине и его «ОТИДО: Черновики 2011–2013 гг. книга стихотворений», весит примерно 200 г, вышла в конце 2013 г. в «Изд-ве Марии Волковой», Челябинск.

метафизический свой сад
я описал бы так что циркуль
свое гнездо же разорял

Если с начала до конца не дочитаете, не отыскав там отзвуки «серебряного века» и синюю «синьку», и мужицкую нежность, зажатую в кулак с соплями, и забытые классические аллегории, и неудобоваримые рэпу размеры XVIII—XIX веков, и фантасмагорию деревянно-кирпично-бетонных реальностей двадцать первого — то вам, скорее всего, не сюда. Сюда — тем, кому жадностью языка и его производными рвет альвеолы, воображение, иногда бытие. Кому смерть — «счастливая роженица», кому «откроют листья золотые рты», кому «вертикальна» холодная вода, кому баба с пузом — миллион миров, кому хочется просто живого, непричесанного иногда (черновики же!), настоящего поэтического слова.

Колеблется ли свет,
подвешенный на трубах
печных в домах ночных,
шагающих в стадах
на водопои тьмы…

Читать петрушкинские «ОТИДО» можно с любой страницы, не роман со схемой — граффити. Удобно откладывать в сторонку, и есть места, где комфортно восклицательно материться карандашу. Таких набралось не два и не три — в первую очередь, многовариантные «Письма» — Кате Симоновой (аж 10) и Даниле Давыдову (целых пять), и поэмка без героя «Начало великого похода», и еще, и еще… Вот из Постскриптума к первым:

василь иваныч и чапаев
плывет по каменной реке

стрекочет как кузнечик в юбке
рябой Максимка вдалеке

Не знаю, порадуется ли читатель замысловатым тропам и постсимволизму на разноуровневой речевой станине, но как же симпатична шершавым языком черновика, иной метафоричностью поэтическая речь Петрушкина.

Я выучил уральский разговор
татарских веток, бьющихся в окно,
скрипит пружина воздуха внутри
озона. Начинается озноб…

Поскольку выворачивание себя наружу лирические герои Петрушкина производят под сонм бабочек, кузнечиков, ос, пчел и прочей саранчи, горы уральского снега и тонно-километры дождей и слякоти, а в прозрачную метафизику глаза-зрака поэта открыт полный доступ — давайте, испытаем, как это:

В срез неба заглянул — а там колодец,
свернувшись, спит высокою водой
…
Голову ангела в ведрах несу —
словно соломенный ломоть отцу
…
на двадцать третье на углах убого
разложен снег как баба плечевая

Звуки у него в стихах нередко одухотворены, по крайней мере, зооморфичны — «и разбухает голосом чебачьим», а то

ходит по кругу воронки
пернатый как треск
и [беспросветен как горло]
светящийся лес

либо делают так:

входя в мой дом, припомни, что в меня
обернут ключ от голоса и смерти

Смерть у Петрушкина во всех ипостасях — женщина, свисток, сущность, «жующая свой хлеб беззубый», снеговик, соглядатай-двойник, собутыльник персонажа… Легкая, словно рифма, или не совсем. Как и жизнь — эта, впрочем, ощутимо тяжелее.

и наблюдает, как быки
теряют листья в эту осень,
и на веревочке тоски
с собою пастбища уносят.
…
Войным-война здесь, Катя, непогода
по воздуху вползает запах йода.
…
Пока я умолкал с недетской оспой,
крапленой речью щебет начинала

мужицкая невыспанная свора,
сидящая грачиной у вокзала.

Если в кибировском «Шалтай-Болтае», в кузминских стансах, в наследии Георгия Иванова, в упорядоченных цветом картинах Петрова-Водкина, в осторожной ломке льда сосноровщины Крикуновым, в божьем лепете Боратынского и гомерическом хохоте Блока… список легко продолжить упоминанием еще поэтик и имен, в том числе совсем уже малознакомых и современных — нет нисколько нынешнего Петрушкина — значит, не прочиталось. Но как же вкусно, самобытно получается вот такое:

Печален облик из окна
промокшего — зима ли ждет,
что выйдем мы из дома на
холодный воздух, обожжет

мою стареющую кожу
зима, в которой Пушкин спит —
печален вид и невозможен —
как ложка длинная лежит.

Или такое:

ключи скрипят внутри у скважин
как будто женщина полна
мужчин и Бога по порядку
выводит в озеро она

Теогония по Петрушкину — отдельное евангелие. ОН или рядом, или равен, или беспечен, но никогда не равнодушен — даже «между бетонных плит, к земле прибитый на закланье», да хоть и «жидкий», хоть «высохший до сосен», или когда поэт смотрит в замочную скважину, в которую на него глядит Бог (сюжет одноименного стихотворения из книжки).

Перспектива в фокусе автора соприкасается местностями, плоскостями, плотью и духовным началом. Поэтому любовь и семейные ценности у него — те же божества, язычески и лирически превозносимые, в которых стержень такой привлекательной мощи, что им напитывается творчество. Эта энергетика автором передается тексту.

И вот, любимая, мы в разной
с тобой чуме…
…
Чудь белоглазая, мой ангел,
ключ деревянный поверни —
пастух под облаками ходит
зашитыми вовнутрь детьми.

Цельность, как и задумал Александр Петрушкин — представитель «озерной школы» уральской поэзии — присуща сборнику «ОТИДО» от начала до конца. Нет случайных или проходных текстов, даже если отдельные стихи пытаются выпасть из общей концепции книги стихотворений — не выйдет, не вырваться.

Любопытны вещи, подобные «Рисунку», где угадываешь «минусовкой» наизусть из Бродского «плывет в тоске необъяснимой». Такие не часты, но и они оправданы. Поэт, не стесняясь авторитетов, играет с размерами,

легко вырывается из классических канонов, и, наоборот, органичен в архаичных ритмах, пусть даже лексика, метафоры и образы — сегодняшние. Перед глазами страница за страницей — новейшая история Урала, срез поколенческих судеб, быт и переживания современников — талантливо поданные непростым, но выразительным языком. Грачевни, голубятни, леса, суровые картины древнего края. Города и веси с характеристиками в одно-два слова — «горбатый Уфалей», «всесветный Тагил», а то и в строфу:

Свердловск начинался сюртучный,
все суки махали вослед
лимонного цвета платками,
линяя в коньячный ответ.

Почему «черновики»? Думается, все закономерно: если поэт спокойно работает и в реликтовых размерах, и в дольнике, управляется с вольным и свободным стихом, легко улавливает ассонансы и диссонанс, не прочь экспериментировать с родным языком — тогда и неотшлифованные редактурой-корректурой тексты совсем не режут слух и не колют глаз. Вольности с грамматикой и лексикой только добавляют глубины восприятию текста. Адекватности прочтения написанному.

К тому же, графически автор разными скобками-кавычками предлагает многовариантное прочтение оригинала. Не дает затормозить перед новациями вроде «в начале от родясь», «тусторонний сад», «листьепад», «тыблоко» и прочей прелестью языковой. Ибо в ритме, в размере или вне, в строке-строфе и в целом тексте — все н а м е с т е. Редкий случай возможного прощения автора. Тем. Кто прочтет. Все 156 страниц поэтических игр и раздумий в столбик.

Александр ПАВЛОВ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Екатерина Антоненко — родилась в г. Стаханове Луганской области. Окончила горный факультет Украинской инженерно-педагогической академии, работала преподавателем компьютерных дисциплин в детском компьютерном центре. Публиковалась в журнале «Урал». Живет в г. Стаханове.

Вальдемар Вебер — поэт, прозаик, переводчик, издатель. Пишет на русском и немецком. Широко представлен в русской и зарубежной периодике. Родился в 1944 г. в Кемеровской области. Автор нескольких сборников стихотворений. Переводился на французский, английский, болгарский. Составитель и переводчик многих известных антологий немецкоязычной поэзии на русском языке. Лауреат нескольких международных литературных премий. Детство и юность прошли во Владимирской области и Подмосковье. С 1962 г. жил в Москве. Закончил Московский институт иностранных языков. В 1991–1992 преподавал в Литературном институте им. А. М. Горького, с 1992 по 2004 год — в университетах Австрии и Германии. В 1996–1998 и 2008–2010 гг. был главным редактором двуязычной «Немецко-Русской газеты» (Мюнхен — Аугсбург). Основал в Аугсбурге (Германия) издательства «Waldemar Weber Verlag» и «Verlag an der Wertach».

Лидия Григорьева — поэт, эссеист и фотохудожник. Участница многих международных литературных, конференций и Всемирных конгрессов поэзии. Ее стихи переведены на английский, японский, французский, чешский, словацкий, китайский, арабский и другие языки. С 1992 года живет в Лондоне и Москве.

Сергей Жадан — поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1974 году в г. Старобельске Луганской области, окончил Харьковский государственный педагогический университет им. Г. Сковороды. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Зарубежные записки», «Сибирские огни», «Дружба народов», «Зеркало», «Союз писателей» и др. Кандидат филологических наук. Живет в Харькове.

Шота Иаташвили — прозаик, поэт, переводчик, арт-критик. Родился в 1966 году в Тбилиси. Автор восьми поэтических сборников, а также четырех сборников рассказов и двух книг переводов. Лауреат премии «Саба» за лучшую поэтическую книгу года (2007) и за лучший критический сборник года (2011), а также международной премии поэтического фестиваля «Киевские Лавры» (2009). Его произведения переведены на азербайджанский, албанский, английский, белорусский, болгарский, испанский, итальянский, латышский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский,

словацкий, турецкий, украинский, французский и эстонский языки. Участник многих международных поэтических фестивалей, в том числе Orient-Occident в Румынии (2006), Est-Ouest (2006) и BIPVAL (2011) во Франции, Poetry International в Голландии (2007) и «Биеналле Поэтов» в Москве (2007, 2009). В 1998–2005 гг. являлся главным редактором литературной газеты «Альтернатива», сейчас — главный редактор литературного журнала «Ахали саундже».

Инна Иохвидович — прозаик. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Публикуется в России, Украине, Австрии, Англии, Германии, Дании, Израиле, США, Чехии, Финляндии. Отдельные рассказы вышли в переводе на украинский и немецкий языки. Победитель нескольких международных конкурсов, а также лауреат международной литературной премии «Вольный стрелок: Серебряная пуля» 2010 года издательства «Franc-Tireur» USA. Автор восьми книг и одной аудиокниги. В 2010 году в издательстве «Вест-Консалтинг» вышли две ее книги, которые стали бестселлерами. Живет в Германии.

Александр Карпенко — поэт, прозаик, эссеист, ветеран-афганец. Член Союза писателей России, Союза писателей XXI века. Закончил спецшколу с преподаванием ряда предметов на английском языке, музыкальную школу по классу фортепиано. Сочинять стихи и песни Александр начал будучи школьником. В 1980 году поступил на годичные курсы в Военный институт иностранных языков, изучал язык дари. По окончании курсов получил распределение в Афганистан военным переводчиком (1981). В 1984 году демобилизовался по состоянию здоровья в звании старшего лейтенанта. За службу Александр был награжден орденом Красной Звезды, афганским орденом Звезды 3-й степени, медалями, почетными знаками. В 1984 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, тогда же начал публиковаться в толстых литературных журналах. Институт окончил в 1989-м, в этом же году вышел первый поэтический сборник «Разговоры со смертью». В 1991 году фирмой «Мелодия» был выпущен диск-гигант стихов Александра Карпенко. Снялся в нескольких художественных и документальных фильмах. Живет в Москве.

Карло Качарава (1964–1994) — поэт, художник, эссеист, критик, культуртрегер. В 1984 году вместе с друзьями основал группу художников «Архивариус», в то же время являясь автором манифеста группы. Позже стал лидером группы «Десятый этаж». В возрасте тридцати лет умер от аневризмы головного мозга. Оставленное им творческое наследие включает около 40 научных статей, 900 живописных полотен, 3700 графических работ, 1500 стихов, а также четыре поэмы и незаконченную книгу под названием «Толковый словарь современного искусства». После смерти Качарава состоялся ряд его персональных выставок (при жизни не выставлялся), был выпущен номер газеты, целиком посвященный его памяти (1994), а также — двухтомник его записей (2006). Карло Качарава был посмертно награждён Государственной премией имени Георгия Чубинашвили «За особый вклад в развитие искусствоведения» (1997).

Бека Курхули — прозаик, публицист. Родился в 1974 году. Первые новеллы опубликовал в 1991 году в газете «Мамули». После этого его рассказы систематически печатались в грузинских литературных журналах и газетах: «Альтернатива,» «Арили», «Дилис газети», «Чвени мцерлоба», «Цигнеби» (газета «24 саати»), «Парнаси», «Литературули палитра», «Литературули газети», «Литература — цхели шоколади», «Апра». В 1999-2004 гг. был репортером газеты «Дилис газеты», работал в конфликтных регионах Грузии и Кавказа. Автор многих книг и публикаций.

Максим Лаврентьев — поэт, литературовед. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многочисленных публикаций. Живет в Москве.

Саша Либуркин — прозаик. Публиковался в журналах «Зинзивер», «Дети Ра», «Крещатик», «День и Ночь» и др. Родился и жил в Молдавии, с 1989 года живет в Санкт-Петербурге. Член Союза писателей XXI века.

Тамри Пхакадзе — прозаик, драматург. Родилась в 1957 году в Тбилиси. В 1974 году окончила филфак ТГУ. С 1980 по 2006 гг. работала в отделе древнегрузинской литературы Института грузинской литературы имени Ш. Руставели. В 1987 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. С 2001 года регулярно печатается в грузинских литературных изданиях. Награждена несколькими литературными премиями Грузии, в том числе премией «Саба» и детской премией «Золотое Пёрышко». Автор многих книг и публикаций.

Александр Радашкевич — поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1950 году в Оренбурге. В 1970-е годы жил и работал в Ленинграде. Эмигрировал в США в 1978 году. В 1994 году основал при петербургском издательстве «Лики России» литературно-историческую серию «Белый орел». Автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей XXI века. Живет в Париже.

Николай Толстиков — прозаик. Родился в 1958 году в городе Кадникове Вологодской области. После службы в армии работал в районной газете. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1999 г. (семинар Владимира Орлова). В настоящее время — священнослужитель храма святителя Николая во Владычной слободе города Вологды. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Север», «Сибирские огни», «Крещатик», «Новый берег», «Венский литератор» и др. Автор книг «Прозрение» (1998) и «Лазарева суббота» (2005). Победитель ряда международных литературных фестивалей. Живет в Вологде.

Борис Херсонский — поэт. Родился в 1950 году в Черновцах, окончил Одесский медицинский институт, заведует кафедрой клинической психологии Одесского национального университета. Публикации в журналах «Арион», «Воздух», «Знамя», «Звезда», «Крещатик», «Новый мир», «Октябрь», «Дети Ра» и др. Автор нескольких книг стихов, в том числе «Семейный архив» (2006), «Вне ограды» (2008), «Площадка под застройку» (2008), «Мраморный лист» (2009), «Спиричуэлс» (2009), «Псалмы и Оды Соломона» (2009), «Пока не стемнело»

(2010), «Хасидские изречения» (2011). Стипендиат фонда им. Иосифа Бродского (2008), лауреат премии «Anthologia» (2008), Русской премии (2011), шорт-лист Премии им. Андрея Белого (2007). Живет в Одессе.

Дмитрий Циклаури — прозаик, поэт, драматург. Родился в 1965 году. Закончил фармацевтический факультет медицинского института. Выпустил шесть поэтических сборников, а также сборник пьес «Антихтоны» (1999) и сборник рассказов «Сезон пугала» (2013).

Заказ № 17
Тираж 500 экз.
Отпечатано
в ООО «Вест-Консалтинг»,
109193, г. Москва,
ул. 5-я Кожуховская, д. 13.